Алтын-Толобас

Автор:
Борис Акунин

Алтын-Толобас

Борис Акунин

Приключения магистра #1

Британец русского происхождения Николас Фандорин отправляется на родину предков, по следам загадочного старинного документа…

Действие первого романа серии «Приключения магистра» происходит в семнадцатом веке и в конце двадцатого. За триста лет что-то в Москве изменилось, а что-то осталось неизменным…

Борис Акунин

Алтын-Толобас

Глава первая

Хоть и не красавица

Это была нелюбовь с первого взгляда.

Когда поезд отъехал от последней латвийской станции с немелодичным названием Зелупе и, прогрохотав по железному мосту, стал приближаться к

российской границе, Николас придвинулся к окну купе и перестал слушать косноязычную болтовню попутчика.

Айвар Калинкинс, специалист по экспорту сметаны, так гордился своим знанием английского, что переходить с ним на русский было бы просто жестоко, да и, судя по тому, как латвийский коммерсант отзывался о своих недавних соотечественниках, он вряд ли пожелал бы изъясняться на языке Пушкина и Достоевского. С самой Риги бизнесмен упражнялся на кротком британце в использовании идиоматических оборотов и паст перфект континьюэс, называя при этом собеседника «мистер Фэндорайн». Объяснять, что обозначенное на визитной карточке имя Fandorine читается по-другому, Николас не стал, чтобы избежать расспросов о своих этнических корнях разъяснение вышло бы слишком длинным.

Он сам не очень понимал, почему решил добираться до России таким кружным путем: теплоходом до Риги, а оттуда поездом. Куда проще и дешевле было бы сесть в Хитроу на самолет и через каких-нибудь три часа спуститься на русскую землю в аэропорту Шереметьево, который, согласно путеводителю «Бедекер», находился всего в 20 минутах езды от Москвы. Однако родоначальник русских Фандориных, капитан Корнелиус фон Дорн триста лет назад воспользоваться самолетом не мог. Как, впрочем, и поездом. Но, по крайней мере, фон Дорн должен был двигаться примерно той же дорогой: обогнуть морем неспокойную Польшу, высадиться в Митаве или Риге и присоединиться к какому-нибудь купеческому каравану, направлявшемуся в столицу диких московитов. Вероятнее всего, в 1675 году родоначальник тоже переправлялся через эту вялую, поблескивающую под мостом реку. И волновался перед встречей с неведомой, полумифической страной – так же, как сейчас волновался Николас.

Отец говорил: «Никакой России не существует. Понимаешь, Никол, есть географическое пространство, на котором прежде находилась страна с таким названием, но всё ее население вымерло. Теперь на развалинах Колизея живут остготы. Жгут там костры и пасут коз. У остготов свои обычаи и нравы, свой язык. Нам, Фандориным, это видеть незачем. Читай старые романы, слушай музыку, листай альбомы. Это и есть наша с тобой Россия».

А еще сэр Александер называл нынешних обитателей российского государства «новыми русскими» – причем задолго до того, как этот термин прирос к современным нуворишам, которые с недавних пор повадились заказывать костюмы у дорогих портных на Савил-Роу и посылать своих детей в лучшие

частные школы (ну, конечно, не в самые лучшие, а в те, куда принимают за одни только деньги). Для Фандорина-старшего «новыми русскими» были все обитатели Страны Советов, столь мало похожие на «старых русских».

Сэр Александер, светило эндокринологии, без пяти минут нобелевский лауреат, никогда и ни в чем не ошибался, поэтому до поры до времени Николас следовал совету отца и держался от родины предков подальше. Тем более что любить Россию на расстоянии и в самом деле казалось проще и приятней. Избранная специальность – история девятнадцатого века – позволяла Фандорину-младшему не подвергать это светлое чувство рискованным испытаниям.

Россия прошлого столетия, особенно второй его половины, смотрелась вполне пристойно. Разумеется, и тогда под сенью двуглавого орла творилось немало мерзостей, но это всё были мерзости умеренные, вписывающиеся в рамки европейской истории и потому извинительные. А там, где пристойность заканчивалась и вступал в свои права бессмысленный русский бунт, заканчивалась и сфера профессиональных интересов Николаса Фандорина.

Самая привлекательная сторона взаимоотношений магистра истории с Россией заключалась в их совершеннейшей платоничности – ведь рыцарское служение Даме Сердца не предполагает плотской близости. Пока Николас был студентом, аспирантом и диссертантом, сохранение дистанции с Империей Зла не выглядело таким уж странным. Тогда, в эпоху Афганистана, корейского лайнера и опального изобретателя водородной бомбы, многие слависты были вынуждены довольствоваться в своих профессиональных изысканиях книгами и эмигрантскими архивами. Но потом злые чары, заколдовавшие евразийскую державу, начали понемногу рассеиваться. Социалистическая империя стала оседать набок и с фантастической быстротой развалилась на куски. В считанные годы Россия успела войти в моду и тут же из нее выйти. Поездка в Москву перестала считаться приключением, и кое-кто из серьезных исследователей даже обзавелся собственной квартирой на Кутузовском проспекте или на Юго-Западе, а Николас по-прежнему хранил обет верности той, прежней России, за новой же, так быстро меняющейся и непонятно куда движущейся, до поры до времени наблюдал издалека.

Мудрый сэр Александер говорил: «Быстро меняться общество может только в худшую сторону – это называется революция. А все благие изменения, именуемые эволюцией, происходят очень-очень медленно. Не верь новорусским разглагольствованиям о человеческих ценностях. Остготы себя еще покажут».

Отец, как всегда, оказался прав. Историческая родина подбросила Николасу неприятный сюрприз – он впервые в жизни стал стыдиться того, что родился русским. Раньше, когда страна именовалась Союзом Советских Социалистических Республик, можно было себя с нею не идентифицировать, но теперь, когда она вернулась к прежнему волшебному названию, отгораживаться от нее стало труднее. Бедный Николас хватался за сердце, когда видел по телевизору кавказские бомбежки, и болезненно кривился, когда пьяный русский президент дирижировал перепуганными берлинскими музыкантами. Казалось бы, что ему, лондонскому магистру истории, до грузного дядьки из бывших партсекретарей? Но всё дело было в том, что это не советский президент, а русский. Сказано: назови вещь иным словом, и она поменяет суть…

Ах, да что президент! Хуже всего в новой России было кошмарное сочетание ничем не оправданного высокомерия с непристойным самобичеванием в духе «Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог». А вечное попрошайничество под аккомпанемент угроз, под бряцание ржавым стратегическим оружием! А бесстыдство новой элиты! Нет, Николас вовсе не жаждал ступить на землю своего духовного отечества, но в глубине души знал, что рано или поздно этой встречи не избежать. И потихоньку готовился.

В отличие от отца, подчеркнуто не интересовавшегося московскими вестями и до сих пор говорившего «аэроплан» и «жалованье» вместо «самолет» и «зарплата», Фандорин-fils старался быть в курсе (вот тоже выражение, которого сэр Александер решительно не признавал) всех русских новостей, водил знакомство с заезжими россиянами и выписывал в специальный блокнот новые слова и выражения: отстойный музон = скверная музыка («отстой» вероят., близкое к «sewage»); как скрысятить цитрон = как украсть миллион («скрысятить» – близкое к to rat, «цитрон» – смысловая подмена сл. «лимон», омонимич. имитации сл. «миллион») и так далее, страничка за страничкой. Николас любить щегольнуть перед какой-нибудь русской путешественницей безупречным московским выговором и знанием современной идиоматики. Неизменное впечатление на барышень производил прекрасно освоенный трюк: двухметровый лондонец, не по-родному учтивый, с дурацкой приклеенной улыбкой и безупречным пробором ровно посередине макушки одним словом, чистый Англичан Англичанович – вдруг говорил: «Милая Наташа, не завалиться ли нам в Челси? Там нынче улетная тусовка».

* * *

На следующий день после того, как Николас любовался по телевизору дирижерским мастерством русского президента, произошло событие, ставшее первым шагом к встрече с отчизной.

Блистательный и непогрешимый сэр Александер совершил единственную в своей жизни ошибку. Отправляясь с женой в Стокгольм (поездка имела исключительную важность для ускорения неизбежной, но все еще медлившей Нобелевской премии), Фандорин-старший решил не лететь самолетом, а совершить недолгое, отрадное плавание по Северному морю на пароме «Христиания». Да-да, на той самой «Христианин», которая по невероятному стечению компьютерных сбоев налетела в тумане на нефтеналивной танкер и перевернулась. Была чудовищная, нецивилизованная давка за места на плотиках, и те, кому мест не хватило, отправились туда, где догнивают останки галеонов Великой Армады. Несмотря на возраст, сэр Александер был в превосходной физической форме и наверняка мог бы попасть в число спасшихся счастливцев, но представить отца, отталкивающего других пассажиров, чтобы спасти себя или даже леди Анну, было совершенно невозможно…

Если оставить в стороне эмоции, вполне естественные при этих горестных обстоятельствах, результатом роковой ошибки несостоявшегося лауреата было то, что Николас унаследовал титул, превосходную квартиру в Южном Кенсингтоне, перестроенную из бывшей конюшни, деньги в банке – и лишился мудрого советчика. Встреча с Россией стала почти неотвратимой.

А через год после первого шага последовал и второй, решающий. Но прежде чем рассказать о половинке письма капитана фон Дорна и загадочной бандероли из Москвы, необходимо разъяснить одно обстоятельство, сыгравшее важную, а может быть, и определяющую роль в поведении и поступках молодого магистра.

Обстоятельство это называлось обидным словом недовинченность, которое Николас почерпнул у одного из мимолетных новорусских знакомых (недовинченность – как при недокрученности шурупа; употр. в знач. «недоделанность», «неполноценность»; «какой-то он типа недовинченный» – о чел., не нашедшем своего места в жизни). Слово было жесткое, но точное. Николас сразу понял, что это про него, он и есть недовинченный. Болтается в дырке, именуемой жизнью, вертится вокруг собственной оси, а ничего при этом не сцепляет и не удерживает – одна видимость, что шуруп.

Ёмкая приставка «недо» вообще многое объясняла Фандорину про самого себя. Взять, к примеру, рост. Шесть футов и шесть дюймов – казалось бы, недомерком не обзовешь, на подавляющее большинство обитателей планеты Николас мог взирать сверху вниз. Но стоило перевести рост на метры и выходило символично: метр девяносто девять. Чуть-чуть недостает до двух метров.

То же и с профессией. Возраст, конечно, пока детский – до сорока еще вон сколько, но сверстники по одной-две монографии выпустили, а многие уже пребывают в докторском звании, один даже удостоен членства в Королевском историческом обществе. Профессор Крисби, прежний научный руководитель, как-то сказал: мол, Николас Фандорин, возможно, и историк, но малокалиберный. Крупных охотничьих трофеев, то есть новых теорий и концепций, ему не добыть – разве что мелких фактографических воробьев настреляет. А всё потому что нет усидчивости, долготерпения и обстоятельности. Или, как выразился почтенный профессор, мало мяса на заднице.

Ну не обидно ли? А если у человека аллергия на пыль? Если после десяти минут сидения в архиве из глаз льются слезы, из носа течет, всегдашний розовый румянец на щеках расползается багровыми пятнами и вчистую садится голос? Да Николас никогда не был в так называемых странах Третьего мира, потому что там всюду пыльно и грязно! На втором курсе в Марокко на раскопки из-за этого не поехал!

Впрочем, к чему лукавить с самим собой? История привлекала Николаса не как научная дисциплина, призванная осмыслить жизненный опыт человечества и извлечь из этого опыта практические уроки, а как увлекательная, завораживающая погоня за безвозвратно ушедшим временем. Время не подпускало к себе, ускользало, но иногда свершалось чудо, и тогда на миг удавалось ухватить эту жар-птицу за эфемерный хвост, так что в руке оставалось ломкое сияющее перышко.

Для Николаса прошлое оживало, только если оно обретало черты конкретных людей, некогда ходивших по земле, дышавших живым воздухом, совершавших праведные и ужасные поступки, а потом умерших и навсегда исчезнувших. Не верилось, что можно взять и исчезнуть навсегда. Просто те, кто умер, делаются невидимыми для живущих. Фандорину не казались метафорой слова новорусского поэта, некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр Александер:

…На свете смерти нет.

Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо

бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят.

Есть только явь и свет,

ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.

Мы все уже на берегу морском,

и я из тех, кто выбирает сети,

когда идет бессмертье косяком.

Узнать как можно больше о человеке из прошлого: как он жил, о чем думал, коснуться вещей, которыми он владел – и тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом, и окажется, что никакой тьмы и в самом деле не существует.

Это была не рациональная позиция, а внутреннее чувство, плохо поддающееся словам. Уж во всяком случае не следовало делиться столь безответственными, полумистическими воззрениями с профессором Крисби. Собственно, Фандорин потому и специализировался не по древней истории, а по девятнадцатому веку, что вглядеться во вчерашний день было проще, чем в позавчерашний. Но изучение биографий так называемых исторических деятелей не давало ощущения личной причастности. Николас не чувствовал своей связи с людьми, и без него всем известными. Он долго думал, как совместить приватный интерес с профессиональными занятиями, и в конце концов решение нашлось. Как это часто бывает, ответ на сложный вопрос был совсем рядом – в отцовском кабинете, на каминной полке, где стояла неприметная резная шкатулка черного дерева.

* * *

Бабушка Елизавета Анатольевна, умершая за много лет до рождения Николаса, вывезла из Крыма в 1920-ом всего две ценности. Первая – будущий сэр Александер, в ту пору еще обретавшийся в материнской утробе. Вторая ларец с семейными реликвиями.

Самой познавательной из реликвий была пожелтевшая тетрадка, исписанная ровным, педантичным почерком прапрадеда Исаакия Самсоновича, служившего канцеляристом в Московском архиве министерства юстиции и составившего генеалогическое древо рода Фандориных с подробными комментариями.

Имелись в шкатулке и предметы куда более древние. Например, кипарисовый крестик, который, по уверению семейного летописца, принадлежал легендарному основателю рода крестоносцу Тео фон Дорну.

Или медно-рыжая, не выцветшая за столетия прядь волос в пергаменте, на котором читалась едва различимая надпись «Laura 1500». Примечание Исаакия Самсоновича было кратким: «Локон женский, неизвестно чей». О, как волновала в детстве буйную николкину фантазию таинственная медно-волосая Лаура, сокрытая непроницаемым занавесом столетий!

На столе у отца стоял извлеченный оттуда же, из ларца, фотографический портрет умопомрачительной красоты брюнета с печальными глазами и импозантной проседью на висках. Это был дед, Эраст Петрович, персонаж во многих отношениях примечательный.

А чего стоила записка великой императрицы, собственноручно начертавшей на листке веленевой бумаги всего два слова, но зато каких! «Вечно признательна» – и внизу знаменитый росчерк: «Екатерина». Отец говорил, что некогда содержались в шкатулке и дедовы ордена, в том числе золотые, с драгоценными каменьями, но в трудные времена бабушка их продала. И правильно сделала. Эка невидаль «Владимиры» да «Станиславы», их в антикварных лавках сколько угодно, а вот за то, что Елизавета Анатольевна сохранила старинные нефритовые четки (теперь уж не узнать, кому из предков принадлежавшие) или часы-луковицу бригадира Лариона Фандорина с застрявшей в ней турецкой пулей – вечная бабушке благодарность.

Николасу самому было странно, что он не додумался до такой простой вещи раньше. Зачем копаться в биографиях чужих людей, про которых и так всё более или менее известно, если есть история собственного рода? Тут уж никто не перебежит дорогу.

Сначала магистр, конечно же, занялся автографом царицы, который мог принадлежать только Даниле Фандорину, состоявшему при Северной

Семирамиде в неприметной, но ключевой должности камер-секретаря. Николас напечатал в почтенном историческом журнале очерк о своем предке, где, среди прочего, высказал некоторые осторожные предположения о причинах августейшей признательности и датировке этого документа (июнь 1762?). Историки-слависты встретили публикацию благосклонно, и окрыленный успехом исследователь занялся статским советником Эрастом Петровичем Фандориным, который в 80-е годы прошлого века служил чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, а после, уже в качестве приватного лица, занимался расследованием всяких таинственных дел, на которые был так богат рубеж девятнадцатого и двадцатого столетий.

К сожалению, вследствие сугубой деликатности занятий этого сыщика-джентльмена, Николас обнаружил очень мало документальных следов его деятельности, поэтому вместо научной статьи пришлось опубликовать в иллюстрированном журнале серию полубеллетризованных скетчей, основанных на семейных преданиях. С точки зрения профессиональной репутации затея была сомнительной, и в качестве епитимьи Николас занялся кропотливым исследованием старинного, еще дороссийского периода истории фон Дорнов: изучил развалины и окрестности родового замка Теофельс, встретился с отпрысками параллельных ветвей рода (надо сказать, что потомков крестоносца Тео раскидало от Лапландии до Патагонии), вдоволь начихался и наплакался в ландархивах, музейных хранилищах и епархиальных скрипториумах.

Результат всех этих усилий не очень-то впечатлял – полдюжины скромных публикаций и два-три третьестепенных открытия, на которых пристойной монографии не построишь.

* * *

Статьей о половинке завещания Корнелиуса фон Дорна (еще одна реликвия из черной шкатулки), напечатанной четыре месяца назад в «Королевском историческом журнале», тоже особенно гордиться не приходилось. Для того, чтобы разобрать каракули бравого вюртембергского капитана, вряд ли подозревавшего, что из его чресел произрастет мощная ветвь русских Фандориных, понадобилось пройти специальный курс палеографии, однако и после расшифровки документ яснее не стал.

Если б плотный, серый лист был разрезан не вдоль, а поперек, можно было бы по крайней мере прочитать кусок связного текста. Но хранившийся в ларце свиток был слишком узким – какой-то невежа рассек грамотку сверху донизу, и вторая половина не сохранилась.

Собственно, у Николаса даже не было полной уверенности в том, что это именно духовная, а не какая-нибудь деловая записка. В подтверждение своей гипотезы он процитировал в статье первые строчки, в которых, как положено в завещаниях, поминались диавольский соблазн и Иисус Христос, а дальше следовали какие-то указания хозяйственного толка:

Память сия для сынка розумении будетъ а пути на москву не дойдешь как тог из паки соблазнъ диаволс изыщеш и хрста ради что понизу въ алтынъ рогожею не имай души

Почтенный журнал по традиции не признавал иллюстраций, поэтому поместить фотографию текста не удалось, а цитировать далее Николас не стал – там шли невразумительные, фрагментарные указания о некоем доме (вероятно, отходившем сыну Корнелиуса в наследство), перемежаемые поминанием фондорновских предков. Если б сведения об имуществе иноземного наемника уцелели полностью, это, конечно, представляло бы некоторый исторический интерес, но куда важнее было то, что прочитывались подпись и дата, обозначенные в левом нижнем углу и потому отлично сохранявшиеся:

писанъ на кромешникахъ лета 190го майя въ 3 дн корней фондорнъ руку приложилъ

Из этого следовало, что в мае 1682 года (7190-ый год по старорусскому летоисчислению) Корнелиус находился в волжском городе Кромешники, где как раз в это время дожидался вызова в Москву опальный боярин Артамон Сергеевич Матфеев. Это подтверждало семейную легенду о том, что капитан фон Дорн был близок к первому министру царя Алексея Михайловича и даже женился на его дочери. Последнее утверждение, разумеется, носило совершенно сказочный характер и, вероятно, основывалось на том, что сын Корнелиуса Никита Фондорин долгое время служил личным секретарем графа Андрея Артамоновича

Матфеева, петровского посланника при различных европейских дворах.

Статья Николаса заканчивалась предположением, что грамотка, очевидно, была разрублена во время майского мятежа московских стрельцов, кинувших на копья боярина Матфеева и нескольких его приближенных, в том числе, вероятно, и Корнелиуса фон Дорна, сведений о котором после 1682 года не сохранилось.

А три недели назад, когда Николас вернулся из Венеции, где обнаружился след одной любопытнейшей истории из 1892 года, связанной с неугомонным Эрастом Петровичем, его поджидала бандероль из Москвы.

На коричневой грубой обертке штемпель московского Главпочтамта. Ни имени отправителя, ни обратного адреса. Внутри – номер журнала «Российский архивный вестник» трехлетней давности.

К странице 178, где размещалась рубрика «Новости архивного дела», приклеена красная закладка. Рядовая информация, затерянная среди извещений о научных семинарах, защищенных диссертациях и мелких находках в провинциальных фондах. Без подписи, даже без заголовка – просто отделенная звездочкой.

* В ходе грунтовых работ при строительстве здания районной администрации в г. Кромешники (Костромская область) обнаружен каменный подклет, который, очевидно, принадлежал к ансамблю вотчинной усадьбы графов Матфеевых, сгоревшей в 1744 году. Члены областной Археологической комиссии обследовали подземелье, простучали стены и нашли тайник – небольшую нишу, заложенную двумя кирпичами белого цвета. Внутри оказался кожаный сундучок с предметами, по всей вероятности, относящимися к середине XVII века: уникальный бронзовый будильник гамбургской работы и золотой медальон с латинскими инициалами «C. v. D», а также правая половина свитка, написанного скорописью. Будильник и медальон переданы в городской краеведческий музей, свиток отправлен на хранение в ЦАСД.

Николас пробежал заметку глазами, потом прочитал еще раз, очень внимательно, и сердце заныло от невыразимого, пьянящего чувства – того самого, что охватывало Фандорина всякий раз, когда из густой тьмы безвозвратно ушедшего времени вдруг начинали просеиваться тонкие

светоносные нити. Именно из-за этого волшебного мига, который ученому магистру довелось испытать всего несколько раз в жизни, он и стал заниматься историей. В кромешном мраке, в стране of no return[1 - откуда не вернешься (англ.)] (по-русски так не скажешь), вдруг зажигался огонек, источавший слабые, манящие лучи. Сделай шаг, ухватись за эти бесплотные ниточки и, может быть, тебе удастся схватить Время за край черной мантии, заставить его возвратиться!

Кромешники, C. v. D., Матфеевы, фрагмент свитка, XVII век – всё сходилось. Недостающая часть духовной обнаружена, это не вызывало сомнений! Более или менее ясно было и происхождение бандероли. Кто-то из русских (надо полагать, историк или работник архива) наткнулся на статью Фандорина в «Королевском историческом журнале», вспомнил заметку из давнишнего «Архивного вестника» и решил помочь англичанину. Как это по-русски – не назваться, не приложить сопроводительного письма, не дать обратного адреса! С западной точки зрения – чистейшее варварство. Однако Николас успел хорошо изучить повадки и психологию новых русских. Анонимность послания свидетельствовала не столько о дефиците воспитанности, сколько о застенчивости. Вероятно, бандероль прислал человек бедный (известно, в каком положении нынче российские ученые), но гордый. Боится, что богатый иностранец, обрадованный бесценной подсказкой, оскорбит его предложением денежной награды. Или же отправитель постеснялся наделать ошибок в английском, хотя, казалось бы, мог сообразить, что автор статьи о России XVII века должен худо-бедно понимать и современный русский.

(О, пресловутая новорусская застенчивость! Николас знавал одного москвича, стажировавшегося в Лондонском университете, который спьяну наговорил заведующему кафедрой глупостей, а назавтра даже не попросил прощения, хотя судя по сконфуженному виду отлично всё помнил. «Надо подойти к профессору и просто извиниться, – сказал ему Фандорин. – Ну, выпили – с кем не бывает». Новый русский ответил: «Не могу. Стесняюсь извиниться». Так и страдал до конца стажировки.) Да какая разница! Если неизвестный благодетель не хочет николасовой благодарности – не надо. Главное, что теперь при некотором везении и настырности удастся написать настоящую книгу. Если Корнелиус находился в ссылке вместе с Артамоном Матфеевым (а теперь это можно считать практически доказанным), то в полном тексте завещания могли обнаружиться поистине бесценные сведения. Тут пахло серьезным научным открытием. А не получится с открытием, всё равно можно будет набрать материал на монографию. Скажем, с таким названием:

КОРНЕЛИУС ФОН ДОРН / КОРНЕЙ ФОНДОРН

Биография служилого иноземца предпетровской эпохи, составленная его потомком

А что? Совсем неплохо. Посидеть в этом самом ЦАСДе, то есть Центральном архиве старинных документов, полистать дела о найме иностранных офицеров, реестры о выдаче жалованья, протоколы допросов Приказа тайных дел по делу Артамона Матфеева – глядишь, факты и подберутся. Изложить их на широком фоне эпохи, привести сходные биографии других наемников, вот и выйдет книжка. Заодно Николас наконец познакомится с подлинной, а не романтизированной родиной. Право, давно пора.

Сэр Александер лежал на дне морском и отговорить наследника от рискованной затеи не мог, и Николас осуществил принятое решение с головокружительной быстротой. Снесся по факсу с московским архивом, убедился, что нужный документ действительно имеется в хранилище и может быть выдан, а остальное и вовсе было пустяками: билет, заказ гостиницы, составление завещания (так, на всякий случай). Все движимое и недвижимое имущество за неимением ближних и дальних родственников Николас завещал Всемирному Фонду борьбы за права животных.

И всё, в путь – морем, потом поездом, по предполагаемому маршруту следования далекого предка.

В кейсе, что сейчас покоился под сиденьем спального вагона, лежало всё необходимое: солидная рекомендация от Королевского исторического общества, ноутбук со спутниковым телефоном, ручным сканером и новейшей, только что разработанной программой расшифровки старинных рукописей, заветная половинка духовной с сопроводительным сертификатом, страховка, обратный билет с открытой датой (не на поезд, на самолет).

Перед встречей с отчизной Николас прошел курс аутотренинга, призванный поколебать наследственное предубеждение.

Предположим, Россия – страна не слишком симпатичная, говорил себе магистр. Политически сомнительная, цивилизационно отсталая, к тому же нетвердых моральных устоев. Но это всё понятия относительные. Кто сказал, что Россию нужно сравнивать с благополучной Англией, которая перешла к пристойной жизни на сто или двести лет раньше? А почему не с Северной Кореей или Республикой Чад?

К тому же и к англичанам у Фандорина претензий хватало. Нация каких-то армадиллов, каждый сам по себе, тащит на себе свой панцирь – не достучишься. Да и стучаться никто не станет, потому что это будет считаться вторжением в приватность. А хваленое британское остроумие! Господи, ни слова в простоте, всё с ужимкой, всё с самоиронией. Разве возможно поговорить с англичанином на какую-нибудь «русскую» тему вроде добра и зла, бессмертия или смысла бытия? Невозможно. То есть, конечно, возможно, но лучше не стоит.

И еще теплилась надежда на внерациональное, интуитивное – на русскую кровь, славянскую душу и голос предков. Вдруг, когда за окнами вагона потянутся скромные березовые рощицы и осиновые перелески, а на станции с перрона донесутся голоса баб, продающих смородину и семечки (или что у них там теперь продают на перронах?), сердце стиснет от глубинного, сокровенного узнавания, и Николас увидит ту самую, прежнюю Россию, которая, оказывается, никуда не делась, а просто постарела – нет, не постарела, а повзрослела – на сто лет. Ужасно хотелось, чтобы именно так всё и вышло.

* * *

Вот о чем думал магистр истории Н.Фандорин под перестук колес фирменного поезда «Иван Грозный», доматывавших последние километры до латвийско-русской границы. Жалко, почти совсем стемнело, и пейзаж за окном сливался в сине-серую массу, оживляемую редкими огоньками, да еще мистер Калинкинс очень уж отвлекал своим далеким от совершенства английским.

Сначала, когда он жаловался на трудности с проникновением латвийских молочных продуктов на европейский рынок, было еще терпимо. Фандорин хотел было дать коммерсанту добрый совет: забыть о европейском рынке, куда латвийскую фирму все равно ни за что не пустят – своих коров девать некуда, а вместо этого лучше дружить с русскими и радоваться, что под боком есть такой гигантский рынок сбыта сметаны. Хотел дать совет, да вовремя удержался.

Была у Николаса вредная, неизлечимая привычка соваться к людям с непрошеными советами, что в Англии считается неприличным и даже вовсе невообразимым. За тридцать с лишним лет жизни на Британских островах Фандорин столько раз прикусывал себе язык, уже готовый самым беззастенчивым образом вторгнуться в чужую privacy, что дайке удивительно, как сей коварный инструмент не был откушен начисто.

К тому же совет вряд ли пришелся бы балтийцу по вкусу, потому что от сетований на жестокосердие европейцев мистер Калинкинс перешел на обличение русских, хуже которых, по его мнению, были только скаредные эстонцы. Николас и сам был не слишком лестного мнения о новых русских, но слышать собственные суждения из уст иностранца было противно. (Кажется, и Пушкин писал что-то в этом роде?) – Нам с вами не повезло, – бубнил экспортер сметаны. – Не хватило билетов на наш фирменный поезд «Карлис Ульманис». Там всё по-другому чисто, культурно, свежие молочные продукты в ресторане. А это какой-то Гулаг на колесах. Вы знаете, что такое «Гулаг»? Проводники дают холодный чай, в ресторане пахнет тухлой капустой, а после границы, вот увидите, по вагонам начнут таскаться проститутки.

– Я представлял себе Гулаг несколько иначе, – не удержавшись, съязвил Фандорин, но попутчик иронии не понял.

– Это еще что! – понизил он голос. – После паспортного контроля и таможни мы с вами запрем дверь на замок и цепочку, потому что… пошаливают. – Мистер Калинкинс произнес это слово по-русски (получилось: because they there… poshalivayut), пощелкал пальцами и перевел этот специфический глагол как «hold up».[2 - грабить (англ.)] – Настоящие бандиты. Врываются в купе и отбирают деньги. А поездная полиция и проводники с ними заодно подсказывают, где пассажиры побогаче. Вот в позапрошлом месяце один мой знакомый…

Николасу надоело слушать эту русофобскую болтовню, и он совершил вопиюще неучтивый поступок – нацепил наушники и включил плейер, кассета в котором была установлена на психотерапевтическую песню, призывавшую полюбить Россию черненькой. Фандорин так заранее и спланировал: пересечь границу под хриплый голос певца Юрия Шевчука.

Кажется, подействовало.

«Родина, еду я на родину!» – зазвучало в наушниках, «Иван Грозный» сбавил ход, готовясь тормозить у первой русской станции, и Николас закачался в такт заводному припеву. В сердце и в самом деле что-то такое шевельнулось, в носу защипало, на глазах – вот еще тоже новости! выступили слезы.

Родина! Еду я на Родину!

Пусть кричат «Уродина!»

А она нам нравится!

Хоть и не красавица!

К сволочи доверчива!

– не выдержав, подпел Николас зычному певцу и спохватился. Он знал, что петь вслух ему категорически противопоказано: как у чеховского героя, голос у него сильный, но противный, и к тому же полностью отсутствует музыкальный слух.

Фандорин повернулся от окна и виновато покосился на латыша. Тот взирал на англичанина с ужасом, словно увидел перед собой Медузу Горгону. Певец из Николаса, конечно, был паршивый, но не до такой же степени? Ах да, вспомнил магистр, Калинкинс ведь не знает, что я владею русским.

Однако объясняться не пришлось, потому что в этот самый момент дверь с лязгом отъехала, и в купе, грохоча сапогами, ввалились двое военных в зеленых фуражках: офицер и солдат.

Офицер был неправдоподобно краснолицый и, как показалось магистру, не вполне трезвый – во всяком случае, от него пахло каким-то крепким, во, видимо, недорогим спиртным напитком; к тому же он то и дело икал.

Это пограничная стража, сообразил Фандорин. Главный страж встал перед британцем, протянул ему вытянутую лопаткой ладонь и сказал:

– Ик.

Николас смешался, поняв, что совершенно не представляет себе, как происходит в России обыденный ритуал проверки паспортов. Неужто его принято начинать с

рукопожатия? Это непривычно и, должно быть, не слишком гигиенично, если учесть, сколько пассажирских ладоней должен пожать офицер, но зато очень по-русски.

Фандорин поспешно вскочил, широко улыбнулся и крепко пожал пограничнику руку. Тот изумленно уставился на сумасшедшего иностранца снизу вверх и вполголоса пробормотал, обращаясь к подчиненному:

– Во урод. Гляди, Сапрыка, еще не такого насмотришься.

Потом выдернул пальцы, вытер ладонь о штаны я гаркнул:

– Паспорт давай, черт нерусский. Паспорт, андерстэнд? – И снова солдату. – С него не паспорт, а справку из дурдома брать.

Тощий, бледный Сапрыка неуверенно хихикнул.

К красной книжечке с национальной британской фауной – львом и единорогом – странный пограничник отнесся безо всякого интереса. Сунул помощнику со словами:

– Шлепни. Ик.

Солдатик тиснул на открытой страничке штемпель, а офицер тем временем уже занялся мистером Калинкинсом.

– Ага, – зловеще протянул краснолицый. – Братская Латвия. – Морщась, полистал странички, одну зачем-то посмотрел на свет. – А визка-то кирдык, смазанная, – с явным удовлетворением отметил он. – С такой только в Африку ездить. И дату толком не разберешь.

– Мне такую в вашем консульстве поставили! – заволновался коммерсант. – Не я же штамп ставил! Господин старший лейтенант, это придирки!

Старший лейтенант прищурился.

– Придирки, говоришь? А как ваши погранцы наших граждан мурыжат? Я щас ссажу тебя до выяснения, вот тогда будут придирки.

Мистер Калинкинс побледнел и дрогнувшим голосом попросил:

– Не надо. Пожалуйста.

Подержав паузу, пограничник кивнул:

– Вот так. Я вас научу Россию уважать… Ик! Ладно, шлепни ему, Сапрыка. – И величественно вышел в коридор, задев плечом дверь.

Солдатик занес штемпель над паспортом, покосился на калинкинсовскую пачку «уинстона», что лежала на столике, и тихонько попросил:

– Сигареткой не угостите?

Латыш, шипяще выругавшись по-своему, подтолкнул к протянутой руке всю пачку.

Николас наблюдал за этой сценой в полном оцепенении, но потрясения еще только начинались.

Не прошло и минуты, как дверь снова отъехала в сторону (стучаться здесь, видимо, было не принято), и в купе вошел чиновник таможни. На шее у него висела шариковая ручка на шнурке. Окинул быстрым взглядом обоих пассажиров и сразу подсел к гражданину Латвии.

– Наркотики? – задушевно спросил таможенник. – Героинчик там, кокаинчик?

– Какие наркотики! – вскричал злосчастный Калинкинс. – Я бизнесмен! У меня контракт с «Сырколбасимпэксом»!

– А личный досмотр? – сказал на это человек в черно-зеленой форме, обернулся к Николасу, доверительно сообщил. – У нас тут на прошлой неделе тоже был один «бизнесмен». Пакетик с дурью в очке прятал. Ничего, отыскали и в очке.

Латыш нервно сглотнул, сунул таможеннику под столом что-то шуршащее.

– Ну, контракт так контракт, – вздохнул чиновник и – Фандорину. – А вы у нас откуда будете?

И опять британский паспорт вызвал куда меньше интереса, чем латвийский.

– Gute Reise, – почему-то по-немецки сказал таможенник, поднимаясь.

Досмотр завершился.

Поезд заскрежетал тормозами, вагон покачнулся и встал. За окном виднелась скупо освещенная платформа и станционное здание в стиле ложный ампир с вывеской:

НЕВОРОТИНСКАЯ Моск. – Балт. ж.д.

Вот она, русская земля!

Первое знакомство с представителями российского государства произвело на магистра истории столь ошеломляющее впечатление, что возникла насущная потребность срочно перекусить.

Дело в том, что Николас Фандорин спиртного не употреблял вовсе, а ел очень умеренно, да и то лишь физиологически корректную пищу, поэтому знакомый большинству людей позыв пропустить рюмочку, чтобы успокоиться, у него обычно трансформировался в желание съесть что-нибудь внеплановое и неправильное.

Памятуя предупреждение попутчика о вагоне-ресторане, Николас решил купить что-нибудь в станционном буфете – благо в расписании значилось, что поезд стоит в Неворотинской целых пятнадцать минут (очевидно, чтобы высадить пограничников, таможенников и задержанных нарушителей). На всякий случай портмоне с деньгами, документами и кредитными карточками Фандорин оставил в кейсе, а с собой взял несколько тысячерублевых бумажек, предусмотрительно

обмененных на рижском вокзале.

Проводник, сидевший на ступеньке, посторонился, давая пассажиру спуститься, и шумно зевнул. Под этот неромантичный звук потомок восьми поколений русских Фандориных ступил на родную, закатанную асфальтом почву.

Посмотрел налево, посмотрел направо. Слева висел выцветший длинный транспарант с изображением усатого советского солдата в пилотке и белыми буквами:

50 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ МЫ ПРОШЛИ С ТОБОЙ ПОЛСВЕТА, ЕСЛИ НАДО – ПОВТОРИМ!

Справа стоял небольшой гипсовый Ленин в кепке и с вытянутой рукой. Николас удивился, ибо в газетах писали, что все культовые памятники тоталитаризма давно снесены. Очевидно, здесь так называемый «красный пояс», решил магистр и вошел в станционный зал.

Там пахло, как в давно засорившемся туалете, а на лавках лежали и спали грязные, оборванные люди – надо полагать, современные клошары, которых называют «бомжами». Разглядывать этих живописных челкашей Николас постеснялся и поскорее прошел к стеклянной буфетной стойке.

От нервного возбуждения тянуло на что-нибудь особенно крамольное: хот-дог или даже гамбургер. Однако на тарелках лежали только неровные куски белого хлеба с жирной черной колбасой, завервувшимися кверху ломтиками сыра и маленькими ссохшимися рыбешками. Вид этих сэндвичей заставил Фандорина содрогнуться. Он пошарил взглядом по прилавку и в конце концов попросил усталую, мутноглазую продавщицу, рассматривавшую ползавших по стойке мух:

– Мне йогурт, пожалуйста. С фруктами. Нет, лучше два.

Буфетчица, не поднимая глаз, кинула на прилавок две ванночки «тутти-фрутти» (обычно Николас покупал «данон» – обезжиренный, без вкусовых добавок, но безумствовать так безумствовать), взяла две тысячерублевки и вместо сдачи

выложила три леденца в блеклых бумажках.

– Но позвольте, срок годности этого продукта истек еще месяц назад, сказал Фандорин, изучив маркировку. – Этот йогурт есть нельзя.

Тут продавщица наконец взглянула на привередливого покупателя и с ненавистью процедила:

– Ух, как же вы все меня достали. Вали отсюда, дядя Степа. Без тебя тошно.

И так она это искренне, убедительно сказала, что Николас забрал просроченный йогурт и растерянно пошел к выходу.

У дверей кто-то схватил его за рукав.

– Эй, мистер, вонна фак?

Фандорин решил, что ослышался – вряд ли этот непривлекательный, бородатый субъект, похожий на лешего из сказки, мог всерьез предлагать ему свои сексуальные услуги.

– Тен бакс. Онли тен бакс! До некст стейшн. Незнакомец показал на поезд, а потом куда-то в сторону. – Тен бакс!

Оказывается, сбоку, у стены, стояла девочка – рыженькая, веснушчатая, на вид никак не старше лет тринадцати. Она равнодушно посмотрела на иностранца, похлопала густо накрашенными ресницами и выдула из противоестественно алых губ пузырь баббл-гама.

– Господи, да она совсем ребенок! – воскликнул потрясенный Николас. – Сколько тебе лет, девочка? Ты ходишь в школу? Как ты можешь? За десять долларов! Это чудовищно!

Девочка шмыгнула носом и звонко хлопнула жевательной резинкой, а сутенер толкнул магистра в плечо и сказал по-русски:

– Дай больше, если такой добрый.

Фандорин бросился вон из этого вертепа.

– Фак ю, мистер! – крикнул вслед бородатый.

О ужас, поезд уже тронулся, хотя положенные пятнадцать минут еще не истекли! Охваченный паническим страхом при одной мысли о том, что может остаться в этой кошмарной Неворотинской, Николас швырнул йогурты в урну и со всех ног бросился догонять уплывающий вагон.

Едва успел вскочить на подножку. Проводник курил в тамбуре с двумя рослыми молодыми людьми в сине-белых спортивных костюмах. Мельком оглянулся на запыхавшегося англичанина, никаких чувств по поводу его благополучного возвращения не выразил.

Ни в какие Кромешники не поеду, думал Николас, шагая по коридору. Сосканирую вторую половинку завещания, пороюсь в столбцах Иноземного и Рейтарского приказов и обратно, в Лондон. Три дня. Максимум – пять. Режим в Москве будет такой: отель-архив-отель.

* * *

Нет, историческая родина Фандорину решительно не понравилась. Интересно, как она может нравиться певцу Шевчуку?

Хуже всего было то, что в душе магистра зашевелилось нехорошее предчувствие, подсказывавшее: отныне и ту, прежнюю Россию он уже не сможет любить так беззаветно, как прежде. Ах, отец, отец, мудрейший из людей…

Торговец сметаной заперся в купе и впустил попутчика не сразу, а когда все-таки открыл, то демонстративно заслонился глянцевым латвийским журналом.

Всякий раз, когда Николас оказывался в трудном положении или особенно скверном состоянии духа, он сочинял лимерик. Некоторое напряжение мысли, необходимое для этого тонкого занятия, в сочетании с комичной нелепостью результата способствовали релаксации и восстановлению позитивного взгляда на мир. Испытанный способ помог и сейчас – после экзерсиса в стихосложении

настроение и в самом деле немного улучшилось.

Тут кто-то деликатно постучал в дверь, Фандорин приподнялся отодвинуть засов, а мистер Калинкинс отложил журнал и нервно сказал по-русски:

– Через цепочку! Только через цепочку!

В приоткрывшейся щели было совсем темно, хотя еще несколько минут назад в коридоре горел свет. Прямо к лицу Николаса протянулась рука в чем-то синем, с белой полосой вдоль рукава, и в нос ударила щекочущая, зловонная струя.

Фандорин хотел было возмутиться такому вопиющему непотребству, но не стал, потому что его вдруг перестали держать ноги.

Магистр истории осел на пол, припал виском к косяку, ощутив жесткость металлического ребра, и утратил контакт с реальностью.

Реальность вернулась к одурманенному англичанину тоже через висок, который так ныл и пульсировал, что Николас волей-неволей был вынужден сначала помотать освинцовевшей головой, а потом и открыть глаза.

Еще минут пять ушло на то, чтобы восстановить прервавшуюся череду событий и осознать смысл случившегося.

Мистер Калинкинс лежал на своем месте, закатив белковатые глаза. Изо рта у него стекала нитка слюны, на груди лежал выпотрошенный бумажник.

Николас опустился на колени возле попутчика, пощупал шейную артерию слава богу, жив.

Нога задела что-то твердое. Кейс! Его собственный «самсонайт», виновато раззявившийся на хозяина.

Внутри пусто. Ни ноутбука, ни телефона, ни портмоне, ни – что кошмарней всего – конверта, в котором лежала трехсотлетняя фамильная реликвия.

Ужас, ужас.

Приложение:

Лимерик, сочиненный Н.Фандориным после отбытия со станции Неворотинская вечером 13 июня, в начале одиннадцатого

Один полоумный магистр

Был слишком в решениях быстр.

В край осин и берез

Его леший занес

И сказал дураку: «Фак ю, мистер».

Глава вторая

Корнелиусу улыбается Фортуна. Сокровища кожаной сумки. Знакомство с московитами. Деревня Неворотынская. Доброе предзнаменование. Ложный Эдем.

Корнелиус пронзительно взвизгнул «ййй эхх!», стегнул плеткой доброго испанского жеребца, купленного в Риге за сорок три рейхсталера (считай, половина московитского задатка), и вороной, напуганный не столько ударом, сколько диким, в самое ухо, воплем, с места взял рысью. Хороший конь: приемистый, широкогрудый, на корм нежадный – с ведра воды и пол-четверика овса до семи миль проходит, не спотыкается. Да и на резвость, выходило, недурен. А конская резвость для Корнелиуса сейчас была ох как важна.

Сзади, на длинном поводе, поспевала мохнатоногая каурая кобылка с поклажей – тоже вовсю старалась, выкидывала в стороны растоптанные копыта. Самое ценное фон Дорн, конечно, держал при себе, в седельной сумке, но оставаться без каурой было не резон, поэтому всё же слишком не гнал, придерживал. Во вьюках лежало необходимое: вяленое мясо, соль, сухари и теплая шуба собачьей шерсти, потому что, сказывали, в Московии и в мае бывают лютые морозы, от

которых трескаются деревья и покрываются ледяными иглами усы.

Отрысив на полста шагов, Корнелиус обернулся на пограничную стражу. Тупорылый пристав, обомлев от невиданной дерзости, так и пялился вслед. Трое стрельцов махали руками, а один суетился, прилаживал пищаль допотопную, такие в Европе еще в Тридцатилетнюю войну перевелись. Пускай его, всё равно промажет. Неспособность русских к огненному бою известна всякому. Для того лейтенант – нет, теперь уже капитан – фон Дорн и призван в Москву: обучать туземных солдат премудростям меткой стрельбы и правильного строя.

Голландская служба надежд не оправдала. Сначала их нидерландские высокомогущества платили наемникам исправно, но когда война с англичанами закончилась, а сухопутные сражения с французами поутихли, вюртембергские мушкетеры оказались не нужны. Кто перешел служить к полякам, кто к шведам, а Корнелиус всё маялся в Амстердаме, проживал последнее.

И то сказать, настоящей войны давно уже не было. Пожалуй, что и совсем кончились они, настоящие войны. Десять лет, с безусого отрочества, тянул фон Дорн солдатскую лямку – простым рейтаром, потом корнетом, два года тому наконец выкупил лейтенантский патент – а всё выходило скудно, ненадежно, да и ненадолго. Два года послужил французам, полгода мекленбургскому герцогу, год датчанам, после шведам – нет, шведам после датчан. Еще вольному городу Бремену, польскому королю, снова французам. Попал в плен к голландцам, повоевал теперь уже против французов. На лбу, возле левого виска полукруглая отметина: в бою под Энцгеймом, когда палили из каре по кирасирам виконта де Тюренна, раненая лошадь билась на земле и ударила кованым копытом – чудо Господне, что череп не расколола. Дамам Корнелиус говорил, что это шрам от стрелы Купидона, девкам – что след от кривого турецкого ятагана.

Вот куда бы податься – к австрийцам, с турками воевать. К такому решению стал склоняться храбрый лейтенант на исходе третьего месяца безделья, когда долги перевалили за две сотни гульденов и стало всерьез попахивать долговой ямой. Уж, кажется, немолод, двадцать шестой год, а ни славы, ни богатства, ни даже крыши над головой. В Теофельс, к старшему брату, не вернешься, там лишнему рту не обрадуются. У Клауса и без того забот хватает: надо замок чинить, да старую, еще отцовскую ссуду монастырю выплачивать.

Только где они, турки? До Вены добираться дорого, далеко, и ну как вакансии не сыщется. Тогда хоть в монахи иди, к брату Андреасу – он из фон Дорнов самый

умный, уже аббат. Или в аманты к какой-нибудь толстой, старой купчихе. Хрен горчицы не слаще.

И тут вдруг сказочная улыбка Фортуны! В кабаке на Принцевом канале подсел к столу солидный человек, назвался отставным полуполковником московитской службы, господином Фаустле. Оказался почти что земляк, из Бадена. Послужил царю четыре года, теперь вот едет домой – хочет купить дом с садом и жениться. До Амстердама герра Фаустле милостиво довез русский посланник фюрст Тулупов, который отряжен в Европу вербовать опытных офицеров для русской армии. Жалованье платят не столь большое, но зато исправно. Выдают на дорогу щедрые кормовые, сто рейхсталеров, а по приезде еще и подъемные: пятьдесят рейхсталеров серебром, столько же соболями и пять локтей тонкого сукна. Главное же – для человека отважного и предприимчивого, который хочет составить свое счастье, эта азиатская страна открывает поистине безграничные возможности. Полуполковник объяснил, где остановился русский фюрст, заплатил за вино и пересел к другому столу – разговаривать с двумя голтшинскими драгунами. Корнелиус посидел, подумал. Крикнул герру Фаустле: «А с турками царь воюет?» Оказалось, воюет – и с турками, и с татарами. Это решило последние сомнения.

Ну а уж когда Корнелиус увидел московитского посланника в парчовой, расшитой драгоценными камнями шубе, в высокой шапке из великолепных соболей (каждая такая шкурка у меховщика самое малое по двести рейхсталеров идет!), то уже боялся только одного – не возьмут.

Ничего, взяли. И условия заключил в самом лучшем виде: к ста рейхсталерам подорожных и подъемным (не соврал полуполковник, всё точно и серебро, и соболя, и сукно) еще жалованья одиннадцать рублей в месяц да кормовые. Срок контракта – четыре года, до мая 1679-го. Для пущей важности и чтоб был маневр для торга, фон Дорн потребовал капитанского чина, зная, что без патента не дадут. Дали! Был лейтенант – вечный, без надежды на выслугу, а теперь стал капитан мушкетеров. Посол сразу и бумаги выправил на новое звание, с красными сургучными печатями, честь по чести.

До Риги новоиспеченный капитан доплыл на рыбацкой шнеке – Польшу лучше было объехать стороной, потому что могли припомнить позапрошлогоднее дезертирство из полка князя Вишневецкого. Весь пропах селедкой, зато вышло недорого, всего шесть рейхсталеров.

В лифляндской столице, последнем европейском городе, запасся всем необходимым, чего в Азии было не достать: толченым мелом для чистки зубов (их замечательная белизна принесла Корнелиусу немало галантных побед); не новым, но еще вполне приличным париком (цвет – вороново крыло); батавским табаком; плоской, удобной блохоловкой (вешается наискосок, подмышку). Ждать попутчиков не стал – у капитана фон Дорна английский мушкет, два нюрнбергских пистолета и толедская шпага, лесных разбойников он не боится. Отправился к русской границе один.

Дорога была скучная. На пятый день достиг последнего шведского поста – крепостцы Нойхаузен. Лейтенант, проводивший фон Дорна до пограничной речки, показал направление: вон там, за полем и лесом, в двух с половиной милях, русская деревня Неворотынская, названная так потому, что у московитов тут всего два поселения, и второе называется Воротынская, поскольку принадлежит стольнику Воротынскому. Вот вам пример того, как глупы и лишены воображения эти чесночники, сказал лейтенант. Если бы здесь была еще и третья деревня, они просто не знали бы, как им решить такую головоломку.

«Почему чесночники?» – спросил Корнелиус. Лейтенант объяснил, что русские начисто лишены обоняния. При нездоровом пристрастии к мытью (моются чуть ли не раз в месяц, что, впрочем, скорее всего объясняется распущенностью, ибо бани у них для мужчин и женщин общие), московиты совершенно равнодушны к дурным запахам, а главная их пища – сырой лук и чеснок.

Корнелиуса это известие нисколько не расстроило. Всякий, кто подолгу сиживал в осаде, знает, что чеснок очень полезен – хорош и от скорбута, и от опухания ног, и даже, сказывают, от французской болезни. Пусть русские едят чеснок сколько им угодно, лишь бы жалованье платили в срок.

* * *

Он переправился через речку вброд, проехал с полмили, и из-за кустов выскочила ватага: один толстый, со свинячьим багровым рылом сидел на лошади, еще четверо трусили следом. Все были в длиннополых зеленых кафтанах, изрядно засаленных, только у конного кафтан был целый, а у пеших в дырьях и заплатах. Корнелиус испугался, что разбойники, и схватился было за седельную кобуру, но сразу же сообразил, что лихие люди в мундирах не ходят.

Стало быть, пограничная стража.

Трое солдат были с алебардами, один с пищалью. У офицера на боку висела кривая сабля. Он грозно сказал что-то, налегая на звуки tsz, tch и tsch – будто на гуся зацыкал. О смысле сказанного можно было догадаться и без перевода. Что за человек, мол, и какого черта топчешь землю великого московского царя.

Фон Дорн учтиво приподнял шляпу, достал из сумки подорожную грамоту, выразительно покачал печатями. Потом развернул и сделал вид, что читает из середины – на самом деле повторил заученное наизусть: «I tomu muschkaterskomu kapitanu Korneju Fondornowu jechati wo Pskow, da w Welikij Nowgorod, da wo Twer, a izo Tweri na Moskwu ne meschkaja nigde».

Офицер снова зацыкал и зашикал, потянулся за грамотой (дохнуло дрянным шнапсом), но Корнелиус, слава богу, не вчера на свет появился. Еще разок показал подвешенную печать, да и прибрал подорожную от греха.

– Pskow – Nowgorod – Twer – Moskwu, – повторил он и строго погрозил. – Meschkaja nigde (что означало «по срочному государственному делу»).

Под кустом, оказывается, сидел еще один московит – без оружия, с медной чернильницей на шее и гусиным пером за ухом.

Лениво поднявшись, он сказал на скверном, но понятном немецком:

– Плати три ефимка приставу, один мне, один стрельцам – им тоже жить надо – и езжай себе с Богом, коли нужный человек.

Пять рейхсталеров? Пять?! Да за что?!

– Ага, сейчас, – кивнул Корнелиус. – Только подпругу подтяну.

Подтянул. А после ка-ак гикнет коню в ухо, ка-ак стегнет плеткой. Дырку вам от прецля, господа стражники, а не пять рейхсталеров.

Сзади пальнули, и воздух зашуршал неожиданно близко, в каком-нибудь полулокте от уха. Но ничего, Бог миловал. Фон Дорны везучие, это издавна

известно. Одна беда – никогда не умели извлекать пользу из своей удачливости. А виной тому проклятое чистоплюйство, да еще злосчастный фамильный девиз, придуманный первым из рода, Тео-Крестоносцем, на беду потомкам: Honor primum, alia deinde.[3 - Сначала честь, остальное потом (лат.)]

Прапрадед Тибо-Монтесума, вернувшийся из Мексики с целой повозкой ацтекского золота, вызвал дерзкими речами гнев императора Карла – остался и без золота, и без головы. Двоюродный дед Ульрих-Красавчик достиг блестящего положения, став фаворитом вдовствующей герцогини Альтен-Саксенской. И что же? Влюбился в бесприданницу, покинул княжеский дворец и окончил свои дни в бедности.

Когда-то Корнелиусу по молодости и глупости виделась особенная красота и лихость в этой фондорновской нерачительности к подаркам судьбы, но, поголодав в походах и осадах, померзнув, поглотав дыму, он понемногу вошел в разум, понял: честь хороша для тех, кто может ее себе позволить. А если всё твое состояние помещается в невеликой седельной сумке, то про honor лучше до поры до времени забыть.

Что же там было, в заветной сумке?

Перво-наперво – грамота от князя Тулупова, пропуск к славе и богатству, достигнув которых, можно будет и о чести вспомнить.

Потом кипарисовый крестик из Святой Земли, выигранный в кости у одного анжерского капуцина.

Золотой медальон с инициалами «C. v. D.» – тайный матушкин подарок, когда навечно уезжал из Теофельса. Раньше внутри лежала частица Древа Истинного Креста Господня, да в прошлом году выпала в битве близ Шарлеруа, потерялась.

Самая же дорогая и редкая вещь – превосходный будильник, корнелиусова доля при разделе отцовского имущества. Дележ был честный, согласно завещанию. Клаусу достались замок, земля и долги; Марте и Грете – по перине и две подушки и по два платья; Фердинанду – хороший конь с седлом; Андреасу ничего, потому что слуге Божию земное достояние – тлен; самому же младшему, Корнелиусу – будильник, военный трофей покойного батюшки, валленштейновского солдата. Будильник был бронзовый, с хрустальным

окошком и золочеными цифрами, а мог ли звонить или давно сломался, того Корнелиус не знал, потому что берег драгоценную вещь пуще глаза и механизм не заводил. Никогда, даже в самую трудную пору, отцовское наследство в заклад не сдавал, при игре на кон не ставил. У будильника был особенный смысл. Такая роскошная безделица хорошо смотрелась бы лишь в богатом антураже, среди бронзовых скульптур, мрамора и бархатных портьер, и цель карьеры Корнелиус определял для себя так: найти будильнику подходящее обиталище и на том успокоиться. Пока до цели было ох как далеко.

Но там же, в кожаной сумке, лежал маленький сверточек, благодаря которому странствия будильника могли благополучно завершиться в не столь уж отдаленном будущем. Прядь медно-рыжих волос, тщательно завернутая в пергамент, сулила Корнелиусу барыши, которых не накопишь никаким жалованием, да и у турков на шпагу вряд ли возьмешь. Перед отплытием в Ригу была у мушкетерского капитана деловая беседа с торговцем Яном ван Хареном, что поставляет в европейские столицы прекрасные рыжие волосы голландских женщин для производства наимоднейших париков «Лаура». Ван Харен сказал, что рыжие голландки жадны и привередливы, ломят за свои жидкие патлы бешеную цену, пользуясь тем, что их, красноволосых, не столь уж много. А вот в Московии женщин и девок с волосами того самого бесподобного оттенка без счету – просто через одну, да и дорожиться они не станут. Расчет был прост и верен: на капитанское жалованье покупать задешево у московиток их косы, с купеческими караванами переправлять в Амстердам ван Харену, а тот будет класть причитающееся вознаграждение в банк. Локон был выдан для образца, чтоб не ошибиться в цвете, а на пергаменте торговец собственноручно вывел оговоренную цену – 1500 гульденов за возок. Это ж сколько за четыре года денег наберется! И войны с турками не надо.

* * *

Погода по майскому времени была ясная, легкая, птицы щебетали точь-в-точь, как в родном Теофельсе, и настроение у Корнелиуса сделалось победительное. Для верности он проскакал еще с милю резвой рысью, хотя предположить, что хмельной предводитель зеленых стражников станет за ним гнаться, было трудно. Потом, когда каурая стала мотать башкой и разбрасывать с морды хлопья пены, перешел на шаг. Надо было покормить лошадей, напоить, да и самому неплохо пропустить стаканчик за удачное бытование в русских землях.

Когда под пригорком открылась деревня, капитан сначала решил, что она нежилая – то ли разоренная мором, то ли брошенная жителями. Серые, кривые дома под гнилыми соломенными крышами, слепые оконца, часовенка со съехавшим на сторону восьмиконечным крестом. Но над одной из лачуг, длинной и окруженной забором, вился дымок, а в стороне от селения, на лугу паслось стадо: три костлявые коровенки и с десяток грязных овец. Надо думать, это и была Неворотынская.

По единственной улице Корнелиус ехал не спеша, с любопытством оглядывался по сторонам. Такой нищеты он не видывал даже в Польше. Ни курицы, ни плодового деревца, ни телеги. Даже собак, и тех нет. Удивило, что из крыш не торчат печные трубы – кажется, здесь топили по-черному, как у самоедов на далеком Севере.

Люди, однако, попадались. Сначала древняя, лет шестидесяти, старуха. Она выскочила из щербатых ворот, когда вороному вздумалось опростаться на ходу, покидала в подол мешковинной юбки дымящиеся яблоки (обнажились землистого цвета тощие ноги) и, плюнув вслед иностранцу, засеменила обратно. Съест, что ли? – испугался Корнелиус, но потом успокоил себя: для огородного удобрения или на растопку.

Потом попался мужик, в одной рубахе. Он лежал посреди дороги не то мертвый, не то пьяный, не то просто спал. Конь осторожно переступил через него, кобыла обошла сторонкой.

Из-за плетня высунулись двое ребятишек, совсем голые, чумазые. Уставились на иноземца пустыми, немигающими глазенками. Один шмыгал носом, второй сосал палец. Корнелиусу они показались совершеннейшими зверенышами, хорошо хоть вели себя тихо – подаяния не клянчили и камнями не кидались.

Впереди показалась давешняя лачуга, единственная на всю деревню при трубе и слюдяных оконцах (в прочих домах малюсенькие окна были затянуты бычьими пузырями). У крыльца лежали еще двое недвижных мужиков, во дворе стояло несколько повозок, на привязи топталось с полдюжины лошадей. То, что надо: корчма или постоялый двор.

Корнелиус въехал за ограду, подождал, не выглянет ли слуга. Не выглянул. Тогда крикнул: «Эй! Эгей!» – до пяти раз. Всё равно никого. Вышел было на

крыльцо человек в одних портках, с медным крестом на голой груди, но не в помощь путнику. Постоял, покачался, да и ухнул по ступенькам головой вниз. Из разбитого лба пропойцы натекла красная лужица.

Здесь много пьют, сделал для себя вывод Корнелиус. Должно быть, сегодня какой-нибудь праздник.

Привязал лошадей сам. Расседлал, насыпал своего овса (был во вьюке кое-какой запасец). Каурая немного сбила левую заднюю, надо бы перековать. Вороной был в порядке – чудо, а не конь.

Седельную сумку взял с собой, пистолеты тоже, мушкет повесил через плечо. За вьюками надо будет поскорей прислать слугу, а то не дай Бог утащат.

Толкнул дощатую дверь, оказался в полутемном сарае. Шибануло в нос кислым, гнилым, тухлым. Шведский лейтенант сказал правду, пахло от московитов не амброзией.

Постоял на пороге, привыкая к сумраку. Несколько длинных столов, за ними молчаливые – нет, не молчаливые, а тихо переговаривающиеся бородатые оборванцы. Перед ними глиняные кружки либо квадратные штофы толстого зеленого стекла, одни побольше, другие поменьше. Пьют часто, запрокидывая голову рывком. Пальцами из мисок берут рубленую капусту. В дальнем углу стойка, за ней дремлет кабатчик.

Капитан шагнул было в ту сторону, да вдруг обмер, захлопал глазами. Возле самой двери, на полу, сидела на коленях девчонка, лет тринадцати, в грязной рубашке, грызла подсолнечные семена, плевала на пол. Была она конопатая, с намалеванными до ушей угольными бровями, с вычерненными сажей ресницами, со свекольным румянцем во всю щеку. Но поразила Корнелиуса не эта дикарская раскраска, а цвет непокрытых и нечесаных, до пупа волос. Он был тот самый, медно-красный, настоящая «Лаура»! Встреча с Московией начиналась добрым предзнаменованием.

Фон Дорн нагнулся, взял двумя пальцами прядь, посмотрел получше. Никаких сомнений. Если отправлять в Амстердам, скажем, по три, нет, по четыре возка в год, да за четыре года это получится… двадцать четыре тысячи гульденов! Дай срок, мой прекрасный будильник, скоро ты обретешь достойное тебя жилище.

Девчонка посмотрела на шепчущего иноземца снизу вверх, головы не отдернула, плевать шелуху не перестала. Покупать у нее волосы сейчас, конечно, смысла не имело – похоже, в Москве недостатка в рыжих не будет… Но прицениться все же стоило, чтобы прикинуть, во сколько станет возок.

Корнелиус дернул за волосы, да еще показал на них пальцем. Применил одно из десятка необходимых слов, выученных по дороге:

– Potschom?

Ответила не девчонка, а косматобородый плюгавец с черной повязкой поперек лица:

– Poluschka.

Оскалил голые десны, сделал чудовищно похабный жест и сказал еще что-то, подлиннее. Капитан разобрал слово «kopeika». Девчонка шмыгнула носом и вдруг задрала подол до тощих, как веточки, ключиц. Зачем – неясно. Под рубашкой она оказалась совсем голая, но смотреть там по малолетству пока еще было не на что. Должно быть, убогая рассудком, догадался Корнелиус, думая о другом.

Предположим, бородач сказал, что за полушку волосы дадут обрезать частично, за копейку под корень. Полушка – это четверть копейки, на гульден менялы дают двадцать копеек… Волос на вид было фунта на два. От умножения и получившихся цифр у Корнелиуса заколотилось сердце. Выходило очень дешево!

Плюгавец всё лез, толкал в бок, подсовывал девчонку и так, и этак. Капитан слегка двинул его в ухо, чтоб отстал, и пошел к стойке.

Он охотно съел бы сейчас пол бараньей ноги или целого каплуна, но горячей еды здесь, похоже, не подавали. На прилавке, среди мутных, пахучих луж стояло блюдо со склизкими грибами, миска с черной, клейкой на вид массой, еще лежали несколько ломтей серого хлеба, а кислая капуста была вывалена горой прямо на неструганые доски.

Кабатчик спал, пристроившись щекой на стойку, сивая бородища бережно разложена поверх мисок и капусты. Выбирая, что взять, Корнелиус рассеянно снял с бороды жирную вошь, раздавил ногтями. Кроме как хлебом и вином разжиться здесь было нечем.

Он поднял руку хлопнуть корчмаря по плешине, но оказалось, тот не спит – посматривает прищуренным взглядом, да не в лицо приезжему человеку, а на перекинутую через плечо сумку. Капитан взял изрядный ломоть хлеба, бросил на стол серебряный лепесток копейки и сказал по-польски, надеясь, что бородатый поймет:

– Wodka!

Копейку кабатчик сунул в рот – при этом за толстой щекой звякнуло, а выпить принес не сразу: почему-то ушел в закут, что за стойкой, и вынес не бутылку, глиняную кружку. За копейку было маловато. Фон Дорн понюхал (ну и пойло, хуже французского кальвадоса), выпил мутную жидкость залпом и стукнул пустой кружкой о дерево – наливай еще.

Водка оказалась крепка. Пунцовая рожа корчмаря расплылась в стороны и стала похожа на американский фрукт томат, пол закачался у капитана под ногами. Он схватился за стойку. Брякнул свалившийся мушкет.

– Чем ты меня напоил. Иуда? – сказал Корнелиус томату, закрыл неподъемно тяжелые веки. Когда же, мгновение спустя, открыл их снова, то увидел уже не подлую харю кабатчика, но безмятежное майское небо и пушистые облачка.

Ветерок обдувал не только лицо – всё тело капитана, что было приятно, хоть и удивительно. Он провел рукой по груди, животу, ниже и понял, что лежит совсем голый. В спину кололи стебельки травы. На ресницу заполз муравей.

И грязный кабак, и его коварный хозяин, и сама русская деревня в единый миг исчезли, словно дурное наваждение.

Вот так обретались прародители наши в блаженном Эдемском саду, нагие и счастливые, подумал Корнелиус, однако знал, что находится не в раю, ибо, хоть и был наг, счастливым себя не ощущал – очень уж ломило висок. А когда попробовал приподняться, вывернуло наизнанку какой-то зеленой желчью.

Двое мальчуганов, сидевших на обочине пыльной дороги и молча наблюдавших за корчащимся человеком, на ангелов тоже не походили, несмотря на такую же, как у Корнелиуса, первозданную наготу. Ему показалось, что это те же самые мальчишки, что пялились на него давеча из-за плетня.

– Где я? – прохрипел капитан. – Что со мной сделали?

Один из мальчишек почесал затылок. Другой что-то сказал. Оба засмеялись, поднялись и заскакали прочь по дороге, нахлестывая друг друга ветками по заднице да покрикивая: гей, гей!

Дорога вела вниз, к серой кучке домов, в которой Корнелиус сразу признал деревню Неворотынскую. Никуда она не исчезла – осталась на прежнем месте, и над кабаком всё так же лениво тянулся дымок.

Наваждения и колдовства, получается, не было. Говорили фон Дорну в Риге опытные люди: герр капитан, дождитесь оказии, не путешествуйте по Московии в одиночку – ограбят, убьют, и искать никто не станет. Не послушался Корнелиус, спесивый человек. И вот вам: не успел отъехать от границы, как уже отравлен, ограблен, раздет донага и выкинут на дорогу подыхать.

Ни лошадей, ни оружия, ни денег, а хуже всего, что пропала проезжая грамота.

Искать управу? Но кто поверит человеку, у которого ни документа, ни свидетелей, а из одежды одни усы? Как объясниться на чужом языке? И, главное, кому жаловаться – тому свиномордому, от которого сбежал на границе?

Фон Дорн сел, вцепился руками в стриженые каштановые волосы.

Что ж теперь – пропадать?

Глава третья

Отчего люди не летают, как птицы?

По освещенной задорным июньским солнцем Пироговке, ловко лавируя между немногочисленными прохожими, несся на роликах иностранный человек баскетбольного роста, в синем блейзере с золотыми пуговицами, при красно-зеленом шотландском галстуке, с дорогим кейсом в левой руке. На то, что это именно иностранец, указывали лучезарная, белозубая улыбка и раскрытый путеводитель, зажатый в правой руке туриста. Впрочем, и без того было ясно, что молодой человек не из туземцев – в Москве нечасто встретишь взрослого мужчину респектабельного вида на роликовых коньках. Пробор, деливший прическу ровно на две половины, несколько нарушился от встречного ветерка, прямые светлые волосы растрепались, но не катастрофическим образом – два-три взмаха расческой, и приличный вид будет восстановлен.

Роликовые коньки были не обыкновенные, какие можно купить в магазине, а совершенно особенные, изготовленные по специальному заказу за 399 фунтов стерлингов. Собственно, даже и не коньки, а башмаки на пористой платформе, в пятисантиметровой толще которой таились колесики из титанового сплава, очень прочные и замечательно вертлявые. Когда Николасу взбредало на ум перейти с чинного шага на невесомое скольжение, он приседал на корточки, поворачивал маленькие рычажки на задниках чудо-обуви, и у него, как у бога Гермеса, на стопах вырастали маленькие крылья. В родном городе Фандорин редко пользовался автомобилем или общественным транспортом – удивительные башмаки могли в считанные минуты домчать его куда угодно в пределах Центрального Лондона. Не страшны были ни пробки, ни толкотня в метро. Да и для здоровья полезно.

В Москве же, поразившей гостя столицы количеством машин и недисциплинированностью водителей, ездить транспортом, кажется, было бессмысленно – поездка до архива на такси заняла бы куда больше времени и вряд ли вышла бы такой приятной. Абсолютно непонятно, думал магистр, как можно в мегаполисе с десятимиллионным населением обходиться без двухуровневых автострад?

Николас читал много интересного про московский метрополитен, станции которого зачем-то выстроены в виде помпезных дворцов, но нелепо было бы начать знакомство с городом, про который столько слышал и читал, с подземки.

Поэтому, выйдя из своей гостиницы (некрасивый стеклянный параллелепипед, до невозможности портящий вид Тверской улицы, да и номера хуже, чем в самом

немудрящем «бед-энд-брекфасте»), Николас мельком взглянул на красную стену Кремля (потом, это потом) и двинулся по карте в юго-западном направлении. Пронесся по Моховой улице сначала мимо старого университета, где учились по меньшей мере четверо Фандориных, потом мимо нового, где при Иване Грозном находился Опричный двор. Задрав голову, посмотрел на каменную табакерку Пашкова дома – полтора века назад здесь располагалась 4-я мужская гимназия, которую закончил прадед Петр Исаакиевич.

Напротив заново отстроенного храма Христа Спасителя (сэр Александер всегда говорил, что эта великанья голова уродовала лик Москвы своей несоразмерностью и что единственное благое дело новых русских – взрыв чудовищного творения) магистр приостановился и нашел, что собор ему, пожалуй, нравится – за двадцатый век дома в городе подросли, и теперь массивный золотой шлем уже не смотрелся инородным телом.

Надо сказать, что настроение у Фандорина было приподнятое, ему сегодня вообще все нравилось: и ласковая погода, и шумное дыхание Первопрестольной, и даже хмурые лица москвичей, неодобрительно поглядывавших на стремительного конькобежца.

Сердце звенело и трепетало от предчувствия чуда. В кейсе лежала левая половина драгоценного письма, которой очень скоро предстояло соединиться со своей недостающей частью, казалось, навеки утраченной. Хотя почему «казалось»? Она и была утрачена навеки – на целых три века. У Николаса сегодня был двойной праздник: как у историка и как у последнего в роду Фандориных.

Волшебный день, поистине волшебный!

Вчерашние события вспоминались, как досадное недоразумение. Это был морок, насланный на путешественника злой силой, чтобы проверить, тверд ли он в своем намерении достичь поставленной цели.

* * *

Вчера дремучий и враждебный лес, оберегающий подступы к заколдованному граду, сомкнулся такой неприступной стеной, что впору было впасть в отчаянье.

Обнаружив, что кейс, хранилище всех ценностей, опозорен и выпотрошен, магистр кое-как вернул к жизни товарища по несчастью, и обе жертвы газовой атаки бросились в купе проводника. Тот сидел, пил чай и разглядывал в черном стекле отражение своего непривлекательного лица.

Отодвинув Николаса плечом, мистер Калинкинс закричал:

– На нас напали бандиты! Это международный терроризм! Меня и вот этого британского подданного отравили нервно-паралитическим газом! Похищены деньги и вещи!

Проводник лениво повернулся, зевнул.

– Это запросто, – сказал он, глядя на пассажиров безо всякого интереса. – Пошаливают. (Снова это непереводимое ни на один известный Николасу язык слово!). Железная дорога за утыренное ответственности не несет. А то с вами, лохами, по миру пойдешь.

– А где двое молодых людей в спортивных костюмах, с которыми вас видел мистер Фэндорайн? – спросил сметаноторговец, впиваясь взглядом в удивительно хладнокровного служителя. – В каком они купе?

– Какие такие люди? – лениво удивился проводник. – Ни с кем я не разговаривал. Брешет твой мистер. – И снова повернулся к своему отражению, пожаловался ему. – Хлебало раззявят, козлы. Пиши потом объясниловки. Идите к дежурному милиционеру. Он в третьем вагоне, ага. И дверку прикройте, дует.

К милиционеру латыш не пошел – сказал, бесполезно, так что пришлось Николасу отправляться к представителю закона одному.

Лейтенант, которого Фандорин обнаружил в купе у проводницы третьего вагона, сначала и в самом деле никаких действий предпринимать не хотел.

– Поймите, через час и десять минут поезд остановится в Пскове, объяснял ему Николас. – Там воры сойдут, и отыскать похищенное будет уже невозможно. Надо просто пройти по составу, и я опознаю этих людей. Я уверен, что это они.

Тягостный разговор продолжался довольно долго, и было видно, что проку от него не будет. Не имелось у англичанина таких аргументов, из-за которых милиционер застегнул бы пуговицы на мундире, надел портупею и отправился обходить все тринадцать вагонов вместо того, чтобы выпить по четвертой и закусить.

Выручила долговязого иностранца проводница, тем самым подтвердив правоту классической литературы, приписывающей русской бабе жалостливое и отзывчивое сердце.

– Да ладно те, Валь, ну чё ты, не гноись, – сказала нездорово полная и химически завитая правнучка некрасовских женщин. – Видишь, беда у человека, сходи. А я пока огурчиков покрошу, редисочку порежу.

Спортивные молодые люди обнаружились в шестом купе четвертого вагона, соседнего с Николасовым. Ехали вдвоем, шлепали по столу замусоленными картами. На столе стояли пивные бутылки.

– Это тот самый костюм, – показал Николас лейтенанту на синий рукав с белой полосой. – Я уверен.

– Документики предъявим, – строго приказал милиционер. – И вещички тоже. Имею заявление от иностранного гражданина.

Тот, что постарше, развел руками:

– Какие вещички, командир? Мы с Серегой в Неворотинской сели, в Пскове сходим. Во, гляди – два леща в кармане, сигареты.

Следовало отдать лейтенанту Вале должное: в явное нарушение прав личности и должностных инструкций он обыскал и купе, и даже самих молодых людей, но кроме двух вяленых рыбин, пачки LM, подсолнечных семечек и мелочи ничего не обнаружил.

– Ну чего? – спросил Валя в коридоре. – Дальше пойдем или как?

– Я знаю! – воскликнул Николас. – Они в сговоре с проводником из моего вагона! И вещи наверняка тоже у него! А в Пскове он им передаст украденное, и они сойдут.

– Не, – отрезал милиционер. – Проводника шмонать не буду, себе дороже. – И, подумав, присовокупил. – Без ордера не положено. Вы вот что, мистер. Пишите заявление, а после мне в третий поднесете. Пока.

И Николас остался один, кипя от бессильной ярости.

Время, время было на исходе! До остановки в Пскове оставалось не более четверти часа. Можно было, конечно, занять пост в тамбуре и попытаться застичь подлого проводника с поличным – когда будет передавать добычу сообщникам. Но что если у них придумано иначе? Скажем, сунет через открытое окно кому-то, кто заранее дожидается на перроне, а Николас так и будет торчать в тамбуре.

Думай, думай, приказал себе магистр. Упустишь письмо Корнелиуса больше его не увидишь. И никогда себе этого не простишь.

Подумал минут пять, и появилась идея.

Еще минут пять ушло на перелистывание фольклорного блокнота и заучивание некоторых аргоизмов из раздела «Маргинальная лексика».

Когда в окне зачастили желтые огни, давая понять, что поезд въезжает в пределы немаленького города, Фандорин без стука распахнул дверь служебного купе, вошел внутрь и наклонился над сидящим проводником.

– Ну что, мистер, отыскал барахлишко? Да ты пошукай получше. Может, сам куда засунул да забыл. С этого дела бывает. – Наглец щелкнул себя по горлу и спокойно улыбнулся, кажется, совершенно уверенный в своей безнаказанности. – Выдите-ка, гражданин. К станции подъезжаем. Гоу, гоу, шнель!

Николас положил неприятному человеку руку на плечо, сильно стиснул пальцы и произнес нараспев:

– Борзеешь, вша поднарная? У папы крысячишь? Ну, смотри, тебе жить.

Произведенный эффект был до некоторой степени схож с реакцией мистера Калинкинса на исполнение англичанином песни о Родине, только, пожалуй, раз в двадцать сильнее. Николас никогда не видел, чтобы человек моментально делался белым, как мел, – он всегда полагал, что это выражение относится к области метафористики, однако же проводник действительно вдруг стал совсем белым, даже губы приобрели светло-серый оттенок, а глаза заморгали часто-часто.

– Братан, братан… – зашлепал он губами, и попытался встать, но Фандорин стиснул пальцы еще сильней. – Я ж не знал… В натуре не знал! Я думал, лох заморский. Братан!

Тут вспомнилась еще парочка уместных терминов из блокнота, которые Николас с успехом и употребил:

– Сыскан тебе братан, сучара.

Здесь важно было не сфальшивить, не ошибиться в словоупотреблении, поэтому Николас ничего больше говорить не стал – просто протянул к носу злодея раскрытую ладонь (другую руку по-прежнему держал у него на плече).

– Ну?

– Щас, щас, – засуетился проводник и полез куда-то под матрас. – Всё целое, в лучшем виде…

Отдал, отдал всё, похищенное из кейса: и документы, и портмоне, и ноутбук и, самое главное, бесценный конверт. Заодно вернул и содержимое бумажника мистера Калинкинса.

Ведьмовской лес дрогнул перед решимостью паладина и расступился, пропуская его дальше.

Можно было объяснить свершившееся и иначе, не мистическим, а научным образом. Профессор коллоквиальной лингвистики Розенбаум всегда говорил

студентам, что точное знание идиоматики и прецизионное соблюдение нюансов речевого этикета применительно к окказионально-бытовой и сословно-поведенческой специфике конкретного социума способно творить чудеса. Поистине лингвистика – королева гуманитарных дисциплин, а русский язык не имеет себе равных по лексическому богатству и многоцветию. «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий правдивый и свободный русский язык! – думал Николас, возвращаясь в купе. – Нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».

* * *

На территорию архивного городка, вместилища государственной и культурной памяти Российской державы, Николас ступил со священным трепетом – дух захватывало при мысли о том, какие сокровища хранятся за этими серыми стенами с подслеповатыми щелеобразными окошками. И где-то там, теперь уже рукой подать – серый листок, на котором Корнелиус фон Дорн выводил буквицы на чужом, недавно освоенном языке.

После получасового стояния в очереди за пропуском и дотошного осмотра, которому постовой милиционер, в бронежилете и с автоматом, подверг кейс посетителя, Фандорин наконец оказался в Центральном архиве старинных документов.

Для этого пришлось пересечь уютный, тенистый двор и потом попетлять меж кирпичных штабелей, бочек с краской и огромных катушек кабеля – в здании шел ремонт.

Ремонт следовало бы произвести лет на пятьдесят раньше – это Николас понял, когда поднимался по широкой лестнице, в прежние времена, должно быть, величественной, но пришедшей в прискорбную захудалость: мраморные ступени истерлись, перила облупились, от статуй и зеркал, некогда украшавших пролеты, остались одни пустые ниши и сиротливые постаменты.

Было ясно, что архив поражен худшей из болезней, какие только могут постичь научное учреждение – катастрофическим недостатком, а то и полным отсутствием финансирования. Фандорин сочувственно оглядел рассохшиеся ящики каталога, изъеденные молью шторы на высоких окнах, дырявый линолеум и вздохнул. Не зря говаривал сэр Александер, что жизнь новых русских была бы

куда более сносной, если б они больше уважали прошлое своей страны. А прошлое обреталось именно здесь, в этих старых стенах – нос магистра истории, чувствительный к запаху Времени, сразу уловил неподдельность этого магического аромата.

Даже в кабинете директора обстановка была обшарпанной и убогой.

Станислав Кондратьевич Вершинин, медиевист с мировым именем, встретил британского коллегу со всем возможным радушием.

– Как же, как же, помню ваш запрос, мистер Фандорин, – сказал он, усаживая гостя в вытертое до белесости кожаное кресло. – Половина документа, найденная в Кимрах, да?

– В Кромешниках, – поправил Николас, почтительно глядя на сократовскую лысину автора комментариев к «Вычегодской летописи».

– Да-да, в Кромешниках. Подклет Матфеевских палат, помню.

Директор снял трубку черного телефона (такой аппарат в Лондоне можно было встретить только в антикварном магазине), повертел диск.

– Максим Эдуардович, голуба, не могли бы вы ко мне зайти? – спросил Вершинин, ласково улыбаясь невидимому собеседнику. – Приехал английский исследователь мистер Фандорин… Да-да, по поводу кромешниковской находки. Помните, мы отвечали на запрос?… Ну вот и чудесно.

Положив трубку, пояснил:

– Максим Эдуардович Болотников, главный специалист отдела обработки. Всё пополнение фондов проходит через него. Прекрасный палеограф и, между прочим, блестящий специалист по семнадцатому веку. Совсем молодой, а уже четыре монографии издал и докторскую защитил, по Тушинскому Вору, Марии Мнишек и Воренку. Представляете, – Станислав Кондратьевич со значением поднял палец, – его в Стэнфорд приглашали, на огромнейшую зарплату отказался. Патриот! Это у нас теперь редкость. Верит в Россию. Восходящее светило, уж можете мне поверить. Наш архивный Моцарт.

Архивный Моцарт что-то не торопился являться на зов начальства, и для заполнения паузы директор завел разговор о бедственном положении своего учреждения – очевидно, заметил, как иностранец косится на кривые стеллажи и ветхий ковер.

– … А в прошлом квартале вообще ни копейки, – вел Вершинин нескончаемый жалобный рассказ. – Зарплата у старшего научного двести пятьдесят тысяч, и ту задерживают! Пять аппаратов для микрофильмирования сломанные стоят, починить не на что. Ксерокс забарахлил – это вообще трагедия. Да что ксерокс, уборщицам платить нечем. А уборщицы, знаете ли, не наш брат историк, они бесплатно работать не станут. Стыд и срам, сколько пылищи развелось. Я вам, голубчик, добрый совет дам. Не ходите вы к нам сюда таким щеголем, да еще при галстуке. Пожалейте пиджак и манжеты. В курточке, в джинсах – в самый раз будет.

Николас был поражен тем, что директор архива дает малознакомому человеку совет, да еще по такому интимному поводу, как стиль одежды. Немного подумав, магистр решил, что это, хоть и бесцеремонно, но очень по-русски и, пожалуй, даже симпатично.

– Вот такое у меня положение, хуже губернаторского, – обезоруживающе развел руками Вершинин. – Без денег работать очень, очень трудно. А что поделаешь? У государства денег нет. Что бы вы сделали на моем месте?

И растроганный Николас не выдержал. Вершинин дал ему совет первым, да и потом, сам ведь спрашивает. Надо помочь.

– На вашем месте, господин директор, я бы сделал следующее, – все же несколько смущаясь, начал Фандорин. – Во-первых, я не понимаю, почему архив позволяет исследователям пользоваться своими уникальными фондами бесплатно. Чем ограничивать доступ в ваши читальные залы, отсекая праздно любопытствующих и привечая одних лишь специалистов, вы могли бы распахнуть двери для всех желающих, но ввести при этом небольшую абонентскую плату. Я охотно заплатил бы за честь поработать в вашем читальном зале. А, во-вторых, я уверен, что многие мои коллеги заплатили бы куда более существенные суммы, если бы вы принимали заказы от частных лиц на проведение того или иного изыскания. Например, мне нужно сосканировать интересующий меня документ и еще просмотреть столбцы Иноземского, Рейтарского и нескольких других приказов по некой довольно узкой теме. Эта

работа займет у меня неделю плюс к этому я потратил и еще потрачу немало денег на билеты, гостиницу и прочее. Поверьте, я с удовольствием заплатил бы одну или даже две тысячи фунтов, если бы это задание выполнил для меня кто-нибудь из ваших превосходных специалистов…

– А что ж, отличная идея, – оживился директор. – Разумеется, возникнет масса финансово-бюрократических трудностей, но игра стоит…

Он не успел договорить – в дверь постучали, и сразу же, не дожидаясь отклика, вошел элегантный, подтянутый брюнет в модных узких очках и со спортивной сумкой в руке. Из сумки торчали рукояти двух теннисных ракеток.

– Станислав Кондратьевич, – недовольно сказал брюнет, мельком взглянув на Фандорина. – Я же просил отпустить меня пораньше. У меня турнир на Петровке.

– Да-да, – извиняющимся тоном ответил директор. – Помню, голубчик. Но вот прибыл мистер Фандорин, из британского Королевского исторического общества. Помогите ему добыть ту грамотку из хранилища, а то его заставят до завтра дожидаться. Неудобно – гость все-таки. Кстати, познакомьтесь Максим Эдуардович Болотников, Николас Фандорин. Вот, видите, голуба, какая солидная сопроводиловка, с гербом и водяными знаками. Как там было-то? – Вершинин надел очки и зачитал из рекомендательного письма (произношение у него было просто чудовищное). – «…please give every possible assistance to Sir Nicholas A. Fandorine,?.?., Bt.» Просят оказать всемерную поддержку. Кстати, господин Фандорин, что такое «?.?.» я знаю – это «магистр гуманитарных наук», а вот что такое «Bt.»? Какое-нибудь ученое звание или награда?

Николас мучительно покраснел. Ученый секретарь Общества, давний покровитель и доброжелатель, в погоне за вящей внушительностью явно перестарался. Зачем это нужно – «Sir, Bt.»?

– Нет, Станислав Кондратьевич, «Bt.» значит «баронет», наследственный титул, – сказал Болотников, разглядывая англичанина, словно то был экспонат из кунсткамеры. – Как Баскервилль, помните? Если мне не изменяет память, титул баронета был выдуман Яковом I для пополнения королевской казны. Всякий желающий мог облагородиться, внеся что-то около тысячи фунтов.

Одолеваемый сразу двумя неприятными чувствами – смущением и завистью к блестящей эрудиции молодого светила истории, – Николас промямлил:

– Это вы говорите про старинных баронетов, восьмых или даже десятых в своем родословии. Таких в наши времена осталось мало. Я же только второй баронет, первым был мой отец. Он не покупал титул, королева возвела отца в баронеты за достижения в медицине…

Глупо вышло, недостойно – будто он за сэра Александера оправдывался.

Когда вышли из директорского кабинета. Болотников насмешливо спросил:

– Так как вас правильно называть? «Сэр Николас» или «сэр Фандорин Второй»?

– Если вам нетрудно, называйте меня просто «Ник», – попросил магистр, хотя терпеть не мог сокращенной формы своего имени.

Моцарт посмотрел на часы и насупился.

– Вот что, сэр Ник, я посажу вас в своем кабинете, а сам спущусь в хранилище. Придется подождать – пока найду нужную опись, пока отыщу дело… Черт, к первой игре опоздаю. Еще в пробке настоишься… Оставлю тачку, махну на метро.

Последние фразы были произнесены вполголоса и явно адресовались не Николасу, а самому себе.

– Скажите, Максим Эдуардович, – не совладал с любопытством Фандорин. – Господин директор говорил, что вам предлагали место в Стэнфорде, а вы отказались. Почему? Из патриотизма?

– Какой к черту патриотизм. – Болотников посмотрел на Николаса, будто на умственно отсталого. – Я специалист по русской истории и палеографии. Все важные документы по моей специальности находятся в России, не в Стэнфорде. И научные открытия, значит, тоже делаются здесь. Пускай в Стэнфорд едут те, кому таунхаус и гольф-клуб важнее науки… Вы привезли вашу половину письма? Позвольте взглянуть.

Николас бережно достал из кейса специальный узкий конверт, из конверта плотный, неровный по краям и обрезанный посередине листок.

Максим Эдуардович, сосредоточенно сдвинув брови, заскользил по нему глазами.

– Вот теперь окончательно припомнил. Ужасный почерк, пришлось повозиться.

– А уж мне тем более, я ведь не палеограф! – воскликнул Николас.

– Сами-то справитесь? – недоверчиво посмотрел на него Болотников. – Или помогать придется?

Вот он, истинно русский характер, подумал Фандорин. Внешне человек неприветливый, колючий, можно даже сказать неприятный, а какая готовность придти на помощь. Предложил вроде неохотно, но видно, что если попросить не откажет.

– Спасибо, помощь не понадобится. Теперь у меня есть «Scribmaster», он выполнит всю работу за меня.

– Кто-кто?

И Николас объяснил про свою замечательную криптографическую программу, созданную специально для расшифровки средневековых рукописей. Болотников слушал и только головой качал.

– Всё-то вам, западникам, достается на блюдечке. Ладно, сидите ждите. Минут сорок понадобится, а то и час.

И Фандорин остался один. Сел на стул, но через секунду вскочил и заметался по крошечному кабинетику.

Господи, неужели через сорок минут или через час в его руках будет полный текст завещания родоначальника русских Фандориных?

Великий, истинно великий миг!

* * *

Прошло не сорок минут и не час, а все два, прежде чем Болотников вернулся. В руках у него была тощая коленкоровая папка, при виде которой Николас сделался еще пунцовей. Дело в том, что от большого количества старых и пыльных книг, которыми сплошь были уставлены полки в кабинете главного специалиста, у бедного магистра начался приступ его всегдашней аллергии: на щеках выступили гигантские багровые пятна, заслезились глаза, а нос превратился просто в какой-то артезианский источник.

– Это ода? – гнусавым голосом просипел Фандорин, имея в виду: «Это она?»

– Работнички, – сердито пробурчал Максим Эдуардович, кладя папку на стол. – Засунули не на ту полку, насилу нашел. Распишитесь вот тут.

– Сейчас…

Николас виновато улыбнулся – от волнения подпись на бланке получения вышла кривая.

– Вперед, сэр, – поторопил его Болотников. – Вас ждут великие открытия. Ну, составляйте свои половинки. Я только взгляну, сходятся ли они, и побегу.

Фандорин смотрел на серую, скромную папку с приклеенным ярлычком «Фонд 4274, Кромешниковский тайник, 1680-е г.г. (?), 1 ед. хр… Опись 12» – и все медлил развязывать веревочные тесемки. Откуда это: «И развязать в опочивальне заветный милой поясок?». Как пальцы дрожат – еще чего доброго надорвешь хрупкую бумагу.

Взять себя в руки. Самое время сочинить какой-нибудь легкомысленный лимерик.

– Да что же вы? – не выдержал Болотников. – Я и так вон сколько времени угрохал. Дайте я сам.

Слегка отодвинул плечом шевелящего губами британца, дернул за тесемку и осторожно извлек из папки узкий листок.

– Где ваша половина? Давайте сюда. Сложил оба фрагмента на столе, и сразу стало ясно, что они составляют единое целое. Правда, на правой половине бумага совсем не пожелтела, а буквы выцвели гораздо меньше, но это из-за того, что документ триста лет пролежал в полной темноте и лучше сохранился. Состояние было превосходное, только в одном месте, на левой части близ стыка, чернела небольшая дырка, проеденная ненасытным Временем.

Максим Эдуардович внимательно посмотрел на воссозданное письмо, удовлетворенно кивнул.

– Оно самое. Если без вашей хитроумной программы, то возни минимум на час. Когда закончите, кабинет закройте. Папку сдайте в читальный зал, ключ оставьте на вахте. Ладно, я побежал – хоть кончик турнира захвачу. Желаю исторических сенсаций.

С этим ироническим пожеланием архивный Моцарт удалился, оставив Николаса наедине с завещанием предка.

– Спасибо. До свидадия, – пробормотал Фандорин с явным запозданием, когда дверь уже закрылась. Сосредоточенно хлюпая носом, он стал разбирать первую строчку.

«ПАМЯТЬ СИЯ ДЛЯ СЫНКА МИКиТЫ еГДА въ……» Дальше дело не пошло – с разбега прочесть каракули капитана фон Дорна не выходило.

Что ж, на то и существует научный прогресс.

Магистр составил половинки поровнее, включил компьютер, подсоединил ручной сканер и нажал на кнопку «scan».

Николас хотел бы приступить к раскодировке немедленно, но глаза слезились от проклятой пыли, а из носу так текло, что, пожалуй, разумнее было отложить этот захватывающий процесс до возвращения в гостиницу. Теперь ведь письмо никуда не денется – его можно и распечатать, и преобразовать в удобочитаемый

текст.

Скорей в отель! И не на роликах, а на метро – не до прогулок.

Николас сдал папку и ключ, а перед тем как покинуть архив, заглянул в туалет – промыть слезящиеся глаза, высморкаться, да и вообще назрела такая необходимость.

Он стоял у писсуара, глядя перед собой в кафельную стену и мечтательно улыбался. В голове вертелся детский стишок: «Всё, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанусь я с тобой ни за что на свете».

Кейс был здесь же, рядом, на полу.

Скрипнула дверь, в туалет кто-то вошел. Фандорин не обернулся – зачем?

Мягкие, почти бесшумные шаги. Так ходят в спортивной обуви, на резиновой подошве.

Легкий шорох – и кейс вдруг исчез из поля Николасова углового зрения.

Тут уж он обернулся – и увидел нечто невероятное.

Какой-то мужчина в кедах, желто-зеленой клетчатой рубашке (в советской литературе такие называли «ковбойками») и синих полотняных штанах с заклепками преспокойно направлялся к выходу, унося «самсонайт».

– Постойте! – крикнул Фандорин, ничего не понимая. – Это мой! Вы, верно, ошиблись!

Незнакомец будто и не слышал. Открыл дверь и был таков.

Понадобилось несколько секунд на то, чтобы привести брюки в порядок не бегать же с расстегнутой ширинкой. Когда Николас выскочил в коридор, похититель был уже возле лестницы.

– Да стойте же! – заорал Николас. – Что за глупая шутка!

Клетчатый оглянулся.

Молодой. Светлые, наискось зачесанные волосы сбоку свисают на лоб. Обычное, ничем не примечательное лицо. Старомодные очки, такие носили лет тридцать назад.

Задорно улыбнувшись, вор сказал:

– Эй, баскетболист, побегаем наперегонки? – И вприпрыжку помчался вверх по лестнице.

Откуда он знает, что я занимался баскетболом? – оторопел Николас, но тут же сообразил: ах да, это он про мой рост.

Это был псих, очевидный псих, никаких сомнений. Хорошо хоть не вниз побежал, а то гоняйся за ним по всему архивному городку. Вверх по лестнице бежать особенно было некуда – выше второго этажа уже находилась крыша.

Очкарик не очень-то торопился. Раза два остановился, обернулся, на Николаса и, наглец, еще кейсом помахал, поддразнивая.

Лестничный пролет заканчивался площадкой. Псих толкнул невысокую дверцу, и открылся ярко освещенный солнцем прямоугольник. Очевидно, там и в самом деле находился выход на крышу.

Еще не осознав до конца всю идиотскую нелепость приключившегося казуса, Фандорин взбежал по ступенькам. «Кому рассказать – не поверят», бормотал он.

Спрятаться на крыше было некуда, да похититель и не прятался – стоял и ждал у края, обращенного не на Пироговку, а во внутренний двор.

– Всё, побегали. Вы победили, я проиграл, – успокаивающе произнес Фандорин, осторожно приближаясь к безумцу. – Теперь отдайте мне кейс, и мы с вами побежим наперегонки в обратную сторону. Идет?

Воришка застыл спиной к пустоте, зажав кейс между ног, и весело улыбался, кажется, очень довольный собой. Только бы не скинул кейс вниз ноутбук разобьется. Да и сам бы не свалился, кретин несчастный.

Николас опасливо заглянул за кромку. Здание было хоть и двухэтажное, но старой, размашистой постройки, так что лететь донизу было добрых футов сорок. И переломами не отделаешься: из-за ремонта весь двор, вплотную к самым стенам архива, был заставлен стройматериалами, завален каким-то металлическим хламом, железноребрыми мусорными контейнерами. Грохнешься верная смерть.

Заряд активности у психа, кажется, иссяк. Он стоял смирно, глядя на Николаса все с той же добродушной улыбкой.

Фандорин посмотрел на него сверху вниз, медленно показал на кейс:

– Если не возражаете, я возьму. Договорились? Мы так славно с вами побегали. Идемте обратно.

– «Отчего люди не летают, как птицы?» – спросил вдруг клетчатый и пояснил. – Драматург Островский.

Николас удивился:

– Что, простите?

– Птичку жалко, – плаксиво сморщил физиономию безумец.

Откуда он знает про птичку из стишка? – еще больше изумился Фандорин. А очкарик внезапно схватил его одной рукой за брючный ремень, другой за пиджак и без малейшего напряжения перекинул двухметрового магистра истории через голову – вниз, навстречу острым бетонным углам и зазубренному ржавому железу.

Приложение:

Лимерик, сочиненный Н.Фандориным в Центральном архиве старинных документов в минуты волнения 14 июня около полудня:

Жених, ошалевший от счастья,

Вскричал: «Налобзаюся всласть я!»

Стал он шлепать невесту

По мягкому месту

И сломал себе оба запястья.

Глава четвертая

Корнелиус видит золотую искорку на горизонте. Самый большой деревянный город мира. Аудиенция у вице-министра. В Немецкой слободе. Странные обычаи московитов. Главное русское растение.

Столица великого азиатского королевства поначалу увидилась Корнелиусу фон Дорну крохотной золотой искоркой на горизонте… – Смотрите, господин капитан, – показал купеческий старшина Вильям Майер. – Это купол кремлевской колокольни, именуемой Большой Иоганн. Там, под ней, и сидит царь московитов. Еще три-четыре часа, и мы достигнем городских ворот.

С караваном датских и английских негоциантов Корнелиус ехал от самого Пскова. Из-за тяжелых повозок с товаром движение было нескорое, зато безопасное, а кроме того от попутчиков, большинство из которых путешествовали по России не впервые, удалось получить немало ценных сведений о таинственной, полусказочной стране, в которой капитану, согласно подписанному договору, предстояло прожить целых четыре года.

Купцы были люди степенные, всякое повидавшие и ко всему привычные. От жадных русских губернаторов и магистратов откупались малой мздой, лишнего не платили, а опасные леса и пустоши, где poschaliwali (это слово означало «немного разбойничали»), объезжали стороной. На крайний же случай, если уберечься от встречи с лихими людьми не удастся, уговор был такой: с фон

Дорна за пищу и корм для его лошадей денег не берут, но за это он обязан командовать караванной охраной, биться честно, до последней возможности, и купцов с их имуществом разбойникам не выдавать. Посему в глухих местах Корнелиус выезжал вперед, воинственно озираясь по сторонам (мушкет поперек седла, кобуры расстегнуты). За ним – четверо кнехтов, тоже с мушкетами. Потом повозки (по сторонам дороги еще двенадцать вооруженных слуг), а уже сзади – купцы, при саблях наголо и пистолях. Раза два или три на обочине подрагивали кусты, и невпопад, среди бела дня, начинала ухать сова, но напасть на таких серьезных людей никто из гулящих так и не осмелился. В общем, уговор для Корнелиуса получился выгодный.

Одна беда: каждый вечер, на привале, когда сцепляли возы кольцом и расставляли часовых, почтенные коммерсанты за неимением иных развлечений просили снова и снова рассказать, как бравого мушкетера в первой же русской деревне опоили, раздели догола и выкинули за околицу. Всякий раз было много смеху и шуток, рассказ не надоедал. Правда, и сам фон Дорн заботился, чтоб история от повторения не закисала – придумывал всё новые подробности, чем дальше, тем курьезней и невероятней.

– Вам бы не шпагой, а гусиным пером хлеб зарабатывать, господин капитан, – не раз говорил Майер, держась за толстые бока и утирая слезы.

– Книжные издатели платили бы вам за сочинительство золотом. Особенно мне нравится слушать, как вы впрягли бестию-трактирщика в телегу и заставили его везти вас к полицейскому начальнику. И еще, как важно вы шествовали нагишом через всю деревню, а молодки заглядывались на ваши стати через забор.

Про телегу Корнелиус, конечно, выдумал, но приключение в деревне Неворотынской в самом деле вышло недурным, даже и без небылиц. Теперь фон Дорн вспоминал эту историю с удовольствием, гордясь, что при такой ужасной оказии не растерялся, а сумел вернуть имущество и примерно наказать воров.

Голышом через деревню он шел, это правда – а как иначе было добраться до проклятой корчмы? Но молодок он никаких не видел, да и вообще по пути ему никто не встретился. Перед тем как подняться на крыльцо кабака (по-туземному kruzchalo) Корнелиус взял из поленницы суковатое полено.

Пропойцы (по-русски pjetsukhi) оглянулись на голого человека с интересом, но без большого удивления – надо думать, видали тут и не такое. Двух прислужников, что кинулись вытолкнуть вошедшего, фон Дорн одарил: одного с размаху поленом по башке, другому въехал лбом в нос. Потом еще немного попинал их, лежащих, ногами – для острастки прочим, а еще для справедливости. Не иначе как эти самые подлые мужики его, одурманенного да ограбленного, отсюда и выволакивали.

Кабатчик (по-русски tszelowalnik) ждал за прилавком с допотопной пистолью в руке. От выстрела капитан увернулся легко – присел. После ухватил каналью за бороду и давай колотить жирной мордой об стойку. И в блюдо с грибами, и в черную размазню (это, как объяснили купцы, и была знаменитая осетровая икра), и в кислую капусту, и просто так – о деревяшку. Удары были хрусткие, сочные – Корнелиус отсчитывал их вслух, по-немецки. Пьецухи наблюдали с уважением, помочь целовальнику никто не захотел.

Сивобородый сначала терпел. На zwei und zwanzig стал подвывать. На dreissig заплевался кровью прямо в капусту. На drei und vierzig перешел на хрип и попросил пощады.

Те же самые слуги, которых Корнелиус бил поленом и топтал ногами, вынесли, утирая красную юшку, всё похищенное, а после привели и лошадей.

Уже во дворе, сидя в седле, капитан заколебался, не подпалить ли к черту это воровское логово, да пьянчужек невинных пожалел – половина до двери не доберется, угорит.

К вечеру того же дня, когда до Пскова оставалось меньше мили, фон Дорну повезло – встретил европейских коммерсантов, к совместной выгоде и обоюдному удовольствию.

– Вот и застава, – вздохнул Майер, вынимая кожаный кошель, где хранились деньги на общие расходы. – Сейчас будем с таможней торговаться. Это называется sobatchitza или lajatza, такой туземный обычай, без него тут никакого дела не решишь. Они будут кричать, требовать по три рубля с повозки, я тоже буду кричать, что больше трех алтынов не дам, а сойдемся на рубле с полтиною, но не сразу – через час, полтора. Пройдитесь пока по слободе, господин фон Дорн, разомните ноги. Только трубку не курите запрещено.

Слобода называлась Ямской, потому что здесь жили государственные почтальоны и возчики, jamstchiki. Смотреть тут особенно было не на что. Корнелиус обвел взглядом глухие заборы, из-за которых торчали крытые дерном скучные крыши и пошел к заставе – глядеть на Москву.

Майер и еще один купец, Нильсен, хорошо знавший по-русски, громко кричали на бородатых людей в красных кафтанах. Те тоже сердились, а один даже тряс саблей, впрочем, не вынимая ее из ножен.

Граница русской столицы была такая: сухой ров, по которому гуляла тощая бурая свинья с поросятами, потом земляной вал с покосившимся частоколом. Над острыми, уставленными в небо концами бревен виднелись купола – по большей части деревянные, но были и железные, а один даже золотой (его фон Дорн рассмотрел с особенным вниманием – ну, как и вправду из золота). Хотелось поскорей проехать в ворота и увидеть все чудеса главного московитского города собственными глазами.

Наконец, тронулись. Майер был доволен – таможня торопилась хлебать кисель, так что удалось сторговаться по рублю и пяти копеек.

– Доедете с нами до Гостиного двора, а там и до Иноземского приказа рукой подать, – объяснил он. Так называлось министерство, ведавшее иностранцами – Inozemski Prikaz.

Сначала Москва разочаровала фон Дорна, потому что была похожа на все прочие русские городки и села: поля, огороды, пустыри, одинокие усадьбы. Потом дома стали понемножку сдвигаться, тыны сомкнулись, а крыши полезли вверх – в два, три этажа. Если не считать нескольких церквей из мягкого известнякового камня, все строительство было деревянное. Корнелиус никогда не видел, чтобы такой большой город был весь из бревен и досок. Должно быть, Москва – самый большой деревянный город во всем мире! Даже мостовая, и та была бревенчатая. Лошади с непривычки ступали сторожко, оскользаясь копытами. Когда же капитан захотел слезть, чтоб вести испанца в поводу, Майер не позволил, сказал, что в Москве пешком по улице ходят только простолюдины, а человеку благородному зазорно. Даже если тебе нужно в соседний дом, садись на лошадь или в возок. Московиты в таких вещах щепетильны.

– Сейчас будет Мясной ряд, – предупредил купец и прикрыл нос платком, надушенным лавандой.

Корнелиус платка не заготовил и потому чуть не задохнулся от жуткого зловония. Маленькая площадь была заставлена деревянными лавками, на которых сплошь лежали гниющие куски мяса. По ним ползали зеленые мухи, а по краям торга, в бурых лужах, валялись груды протухшей требухи.

– Русские не коптят и не солят убоину, ленятся, – прогнусавил с зажатым носом Майер. – А к гнилью они равнодушны, варят из него капустный суп под названием stzchi и с удовольствием его поедают.

Возле деревянной часовенки метался совсем голый человек, в одном передничке на чреслах. Тряс длинной бородой, закатывал глаза, плевался в прохожих. На груди у него висел тяжелый чугунный крест, желтое тело всё было в язвах.

Увидев иностранцев, ужасный человек закричал, завертелся вокруг себя, а потом схватил с земли кусок нечистот (вероятно, собственного произведения) и швырнул в почтенного господина Майера, причем явил редкую меткость – угодил купцу в плечо. Корнелиус взмахнул было плеткой, чтобы как следует проучить наглеца, но купеческий старшина схватил его за рукав:

– Вы с ума сошли! Это blazchenni, вроде мусульманского дервиша. Русские почитают их, как святых. Ударите его – нас всех разорвут на части.

Он аккуратно вытер замаранное платье, бросил опоганенный платок на землю. К куску материи кинулись нищие.

Другой пример странных представлений русских о святости Корнелиус увидел на соседней улице. Из церкви вышел поп в полном облачении, но такой пьяный, что еле держался на ногах. Заругался на прохожего, что тот недостаточно низко поклонился, сначала ударил его медным кадилом, потом сбил шапку, схватил за волосы и давай к земле пригибать.

– Пьянство здесь грехом не считается, – пожал плечами Майер. – А вот, смотрите, bojarin.

По самой середке улицы ехал верхом важный господин, одетый не по-летнему: в чудесной златотканой шубе, в высокой, как печная труба, меховой шапке. У седла висел маленький барабан, и нарядный всадник мерно колотил по нему рукояткой плети. Чернь шарахалась в стороны, торопливо сдергивая шапки. За боярином ехали еще несколько верховых, одетых попроще.

– Зачем он стучит? – спросил фон Дорн.

– Чтобы сторонились, давали дорогу. Отъедем и мы от греха. Эй! – обернулся Майер к своим. – В сторону! Пропустим индюка!

Шляпы Корнелиус снимать не стал – много чести. Боярин покосился на него через щелки припухших глаз, сплюнул. В Европе фон Дорн отхлестал бы невежу перчаткой по щекам – а дальше шпага рассудит, но тут была не Европа, так что стерпел, только желваками заиграл.

За белой каменной стеной, отгораживавшей центральную часть города от предместий, к каравану привязалась стайка мальчишек. Они бежали рядом, ловко уворачивались от плеток и кричали что-то хором.

Корнелиус прислушался, разобрал – повторяют одно и то же.

– Что они кричат? Что такое: «Nemetz kysch na kukui»?

– Они кричат: «Иностранец, отправляйся на Кукуй», – усмехнулся Майер. – Кукуй – это ручей, на котором стоит Иноземская Слобода. Там ведено селиться всем иностранцам, и вы тоже будете жить там. Сорванцы кричат из озорства, тут игра слов. «Кукуй» созвучно русскому слову, обозначающему срамную часть тела.

А вскоре пришло время расставаться с добрыми купцами.

– Нам налево, заявлять товары. Вам же, господин капитан, вон туда, показал купеческий старшина. – Видите, над крышами башню с двухголовым орлом? Въедете в ворота, и сразу справа будет Иноземский приказ. Только напрямую по улице не езжайте, обогните вон с той стороны. Будет дольше, зато безопасней.

– Почему? – удивился Корнелиус. Улица, что вела к башне, была хорошая, широкая и в отличие от всех прочих почти безлюдная. Только у высоких ворот большого деревянного дворца стояла кучка оборванцев.

– Это хоромы князя Татьева. Он своих кнехтов не кормит, не одевает, поэтому они добывают себе пропитание сами: кто проходит мимо, грабят и бьют. Иной раз до смерти. Такое уж в Москве заведение, хуже, чем в Париже. На улицу Dmitrowka тоже заходить не нужно, там шалят холопы господина обер-камергера Стрешнева. Послушайтесь доброго совета: пока вы здесь не освоились, обходите стороной все дворцы и большие дома. Будет лучше, если первый год вы вообще не станете выходить за пределы Немецкой слободы без провожатых. Хотя, конечно, здесь отлично можно пропасть и с провожатыми, особенно в ночное время. Ну, прощайте. – Славный купец протянул на прощанье руку. – Вы честный человек, господин капитан. Оберегай вас Господь в этой дикой стране.

* * *

Нет, не уберег Господь.

Два часа спустя капитан фон Дорн, бледный, с трясущимися от бессильного гнева губами выходил из ворот Иноземского приказа без шпаги, под конвоем угрюмых стрельцов в канареечного цвета кафтанах.

Капитан? Как бы не так – всего лишь лейтенант, или, как тут говорили на польский манер, porutschik.

Невероятно, но кондиции, подписанные в Амстердаме русским посланником князем Тулуповым, оказались сплошным обманом!

А начиналось так чинно, церемонно. Дежурный чиновник (в больших железных очках, нечистом кафтане, со смазанными маслом длинными волосами) взял у иностранца бумагу с печатями, важно покивал и велел дожидаться в канцелярии. Там на длинных скамьях сидели писцы, держали на коленях бумажные свитки и быстро строчили перьями по плотной сероватой бумаге. Когда листок кончался, лизали склянку с клеем, проводили языком по бумажной кромке и подклеивали следующий листок. Пахло, как и положено в казенном

присутствии: пылью, мышами, сургучом. Если б не явственный запах чеснока и переваренной капусты, не то пробивавшийся снизу, не то сочащийся из самих стен, можно было вообразить, будто это никакая не Московия, а магистратура в Амстердаме или Любеке.

Ждать пришлось долго, как и подобает в приемной большого человека. В конце концов иноземного офицера принял господин Теодор Лыков – приказной podjatschi, то есть по-европейски, пожалуй, вице-министр. Именно он ведал размещением вновьприбывших иностранцев и определением их на службу и довольствие.

Кабинет у его превосходительства был нехорош – бедный, с дрянной мебелью, без портьер, из живописи только маленькая закопченная мадонна в углу, но зато сам герр Лыков поначалу Корнелиуса очень впечатлил. Был он величественный, с надутыми щеками, а одет не хуже, чем князь Тулупов: парчовый кафтан с пуговицами из неграненых рубинов; жесткий, выше затылка ворот весь заткан жемчугом, а на суконной, отороченной соболем шапке – сияющий алмазный аграф.

Сразу видно: человек сановный, огромного богатства.

На подорожную смотрел долго, морщась и на что-то качая головой. У Корнелиуса на душе вдруг стало тревожно. На капитанский патент, выправленный посланником, вице-министр едва взглянул, да и бросил на стол, будто пакость какую. Едва раздвигая губы, что-то обронил.

Низенький, щуплый толмач, с большим синяком посреди лба, подобострастно закланялся начальству, перевел на немецкий – со странным выговором, старинными оборотами, так что Корнелиус не сразу и понял:

– Вольно ж князю Тулупову попусту сулить. Свободного капитанства сейчас не имеется, да и не дадено князь-Евфимию власти самочинно звания жаловать. Поручиком в мушкатерский полк взять можно, капитаном – еще думать надо.

Фон Дорн помертвел, но то было только начало.

– Жалованье тебе будет половинное, ибо сейчас войны нету, – тараторил толмач. – И подъемного корму тебе князь много наобещал, столько дать нельзя.

А и то, что можно бы дать, сейчас взять неоткуда. Ждать нужно год или, может, полтора.

Корнелиус вскочил, топнул ногой.

– Не стану служить поручиком, да за половину жалованья! Если так, я немедля отправляюсь обратно!

Лыков недобро усмехнулся:

– Эк чего захотел. Государевы ездовые, сто ефимков, потратил, города и крепости наши все повысмотрел, а теперь назад? Может, ты лазутчик? Нет, Корней Фондорнов, отслужи, сколько положено, а там видно будет.

От изумления и ярости случилось у Корнелиуса помутнение: подскочил он к вице-министру, схватил его за жемчужный ворот, стал трясти и ругать крепкими словами, так что из канцелярии прибежали писцы разнимать.

Оскорбленный подьячий вызвал стрелецкий караул. Хотел даже буяна в тюрьму отправить, но передумал – велел доставить под стражей к командиру полка, где Корнелиусу служить.

– Полковник Либенов покажет тебе, как государевых людей лаять и за царский кафтан трепать! – кричал подлый вице-министр, а толмач старательно переводил. – Он тебя в погреб посадит, на хлеб и воду, да батогами! А не станет батогами – буду на него самого челом за бесчестье бить!

* * *

Проезд по быстро пустеющей предвечерней Москве запомнился потрясенному Корнелиусу, как кошмарный сон. Хищные укосы крыш, зловещие персты звонниц, похоронный гуд колоколов. Фон Дорн горестно стонал, покачиваясь в седле, даже заплакал от обиды и жалости к себе – лицо закрыл ладонями, чтоб конвоиры не радовались. Коня вел за повод сам стрелецкий десятник, каурую с поклажей тянули аж двое. Она, умница, не хотела идти, прядала ушами, упиралась.

За воротами земляного вала – не теми, через которые въезжал караван, другими – открылся вид на экзекуционный плац. Виселицы с покачивающимися мертвяками Корнелиус оглядел мельком, это было не диво, от кольев с насаженными руками и ногами отвернулся, но чуть поодаль увидел такое, что даже вскрикнул.

Довольно большая кучка зевак стояла вокруг женщины, зарытой в землю по самые плечи. Она была побитая и перепачканная грязью, но живая. Фон Дорн вспомнил, как купцы рассказывали про жестокий обычай московитов жену, что убьет мужа, не жечь на костре, как принято в цивилизованных странах, а закапывать живой в землю, пока не издохнет. Он-то думал, закапывают с головой, чтоб задохнулась – тоже ведь страшно. Но этак вот, на долгую муку, во стократ страшнее.

На закопанную наскакивали два бродячих пса, захлебываясь бешеным лаем. Один вцепился в ухо, оторвал, сожрал. В толпе одобрительно засмеялись. Руки преступницы были в земле, защищаться она не могла, но все же извернулась и укусила кобеля за нос. Зеваки снова зашумели, теперь уже выражая одобрение мужеубийце.

– Дикое варварское обыкновение, – сказал толмач вполголоса. – Люди благородно-просвещенного ума осуждают.

Откуда здесь, в этом адском государстве, взяться благородным, просвещенным людям, хотел сказать Корнелиус, но поостерегся. С чего это приказный вдруг переменил тон? Не иначе, хочет на неосторожном слове поймать.

Проехали еще невеликое расстояние, и было фон Дорну за все перенесенные муки утешительное видение. Закатная заря осветила дрожащим розовым светом берега малой речки, тесно уставленной мельничками, и вдруг поодаль, над крутым обрывом, обрисовался милый немецкий городок: с белыми опрятными домиками, шпилем кирхи, зелеными садами и даже блеснула гладь аккуратного пруда с фонтаном. Городок был как две капли воды похож на милый сердцу Фюрстенхоф, что стоял всего в полумиле к юго-востоку от отчего замка. Очевидно, благое Провидение сжалилось над Корнелиусом и милосердно лишило его рассудка – фон Дорн нисколько этому не огорчился.

– Это и есть Новая Немецкая слобода, которую местные невежи прозвали Кукуем, – сообщил переводчик. – Тому двадцать три года, как выстроена. Заглядение, правда? Дворов нынче за три сотни стало, и люди всё достойные: офицеры, врачи, мастера часовых и прочих хитрых дел. – Он захихикал. – А знаете, господин поручик, почему «Кукуй»?

– Почему? – вяло спросил фон Дорн, поняв, что постылый рассудок никуда от него не делся, и поморщившись на «поручика».

– Это здешние служанки, стирая в ручье белье и пялясь на диковинных московитов, кричали друг другу: «Kucke, kuck mal!»[4 - Гляди, гляди-ка! (нем.)] Вот и пристало. Правда смешно?

У въезда, за полосатым шлагбаумом стоял караульный солдат – в каске, кирасе, с алебардой.

Стрельцов пустил неохотно, после препирательств. Корнелиус заметил, что его конвоиры шли уже не так грозно, как по Москве – сбились в кучу, по сторонам глядели с опаской.

Из аустерии, на крыше которой было установлено тележное колесо с жестяным аистом (вывеска гласила «Storch und Rad»,[5 - «Аист и колесо» (нем.)] вышли в обнимку двое рейтаров с палашами у пояса. Один, показав на бородатых стрельцов, крикнул на баварском:

– Гляди, Зепп, пришли русские свиньи, мочалки для бани продавать!

Второй оглушительно захохотал, согнувшись пополам. Стрельцы сказанного понять не могли, но сдвинулись еще плотнее.

Больше всего Корнелиуса удивил толмач. Вместо того, чтоб осерчать на «русских свиней», заговорщически подмигнул и осклабился.

– Вот, – показал он на большой дом с красной черепичной крышей. – Здесь квартирует ваш полковой начальник герр Кристиан Либенау фон Лилиенклау, по-русски «полковник Либенов». Мне туда ходить незачем, так что откланиваюсь и желаю вам всяческого благополучия. Если понадобится толмач – милости

просим. Зовусь я Пашка Немцеров, с Архангельского подворья. Я и грамотки челобитные либо сутяжные составляю. Беру недорого алтын и деньгу.

Десятник понес в дом кляузу от вице-министра, Корнелиусу велел дожидаться. Сердце заныло от нехорошего предчувствия.

* * *

– Да, молодой человек, наломали вы дров. – Полковник Либенау фон Лилиенклау раскурил фарфоровую трубку, надувая тощие щеки и супя кустистые пегие брови. – Схватить подьячего за шиворот, да еще в приказе, при подчиненных! Теперь эта бестия грозится челом за бесчестье бить. Нехорошо, скверно. Как пойдет писанина, не отвяжешься. – Он снова заглянул в присланную Теодором Лыковым грамотку, сердито крякнул. – Ишь, чего захотел, мокрица – офицера батогами! У меня не стрелецкий полк, а мушкетерский. Секу не батогами, а розгами, и только нижних чинов. Подлая, рабская страна! Тьфу! Придется ему, бесу, тремя рублями поклониться, а то и пятью – больно уж осерчал.

Командир полка оказался страшным только по виду. Ворчал, ругался, несколько раз стукнул кулаком по столу, но Корнелиус на своем веку повидал всяких командиров и хорошо знал: бойся не того пса, что лает, а того, что молчит.

Ругань начальства фон Дорн выслушал без препирательств, а после отлучился во двор, вынул из вьюка флягу доброго голландского рома, сверток батавского табаку, и вскоре они с полковником уже сидели на уютной застекленной веранде, дымили трубками и пили крепкий, щедро сдобренный ромом кофе.

– Тут ведь что досадно, – говорил Либенау, вздыхая. – Этот Федька Лыков невелика шишка, подьячишка простой. Вы говорите, дожидались его долго? Это он посылал за «большим кафтаном» (такой вроде как казенный мундир для парадных выходов), чтоб на вас впечатление произвести. Обычное дело – на гостинец набивался, в России так заведено. Надо было посулить ему пару соболей из ваших подъемных, всё бы и устроилось. А для будущей пользы еще следовало бы его, шельму, да пару других подьячих в гости позвать, очень уж они охочи до мальвазеи и засахаренных фруктов, которые столь искусно приготовляет фрау Зибольд из «Аиста». Только всего и надо было. И капитанское звание при вас осталось бы, и подъемные. Эх, сударь! Что ж вас купцы-то не научили? Нужно было вам сначала сюда, в слободу, а уж после в

приказ. Теперь поздно, не поправишь. Если б вы Федьку с глазу на глаз срамили, да хоть бы и прибили, невелика беда, а при подчиненных дело другое, не простит. Ему бесчестье. За поруганную честь он много возьмет.

Услышав про честь, фон Дорн встрепенулся.

– Если он человек чести, я готов дать ему полную сатисфакцию. На чем здесь принято биться? На саблях? На пистолях? Я готов драться любым оружием!

Либенау засмеялся. Смеялся долго, с удовольствием и вкусом.

– Эк, куда хватили – дуэль. Тут вам не Европа. У здешних дворян, если поссорятся, знаете какая дуэль? Садятся на лошадей и хлещут друг друга кнутами по рожам, пока один не свалится. Я же говорю, рабская страна, никакого понятия о достоинстве. Кроме царя все холопы, до наипервейшего боярина. По здешним понятиям бесчестье может быть только от равных или низших, от высших никогда, пусть хоть на морду гадят. Если царь собственной ручкой какого князя или боярина за виски дерет или по щекам лупит – это только повод для гордости. Вот будет зима, начнется любимая царская забава. Государевы стольники – это вроде камер-юнкеров – будут нарочно во дворец к высочайшему выходу опаздывать. А знаете почему? Потому что опоздавших монарх велит в пруду купать и радуется, как ребенок, в ладоши бьет. Стольники нарочно орут пожалостливей да посмешней, чтобы его помазанному величеству угодить. Некоторые, конечно, от такого купания простужаются и помирают, но бывает и так, что Алексей Михайлович смилуется и пожалует что-нибудь: шубу для согрева или деревеньку на прокорм. Вот такие здесь дворяне. Да их возле дворца каждый день плетьми дерут, кто провинился. А вы – дуэль.

– И иностранцев тоже плетьми дерут? – поджавшись и бледнея при одной мысли о позорном наказании, спросил фон Дорн. Крики вице-министра Федьки про батоги он счел за пустые угрозы (где это видано, чтоб людей благородного звания подвергали порке?), а выходило, что зря.

Полковник только вздохнул, будто на лепет неразумного дитяти.

– Плети что – это и не наказание вовсе. Так, мелкое порицание. У нас тут один капитан из недавно прибывших проверял купленное ружье да пальнул в ворону, что сидела на кресте церкви. Били капитана кнутом, вырвали ноздри и сослали в

Сибирь, навечно.

– За ворону?! – не поверил Корнелиус.

– За кощунство. О, друг мой, вы не представляете, что за обычаи в этой стране! Таких нелепых, безумных законов вы не сыщете и в Персии.

Кажется, полковнику доставляло удовольствие стращать новичка местными ужасами. Он крикнул служанке заварить свежего кофе да принести из погреба можжевеловой и, улыбаясь в усы, стал рассказывать такое, что фон Дорн только ахал.

– В шахматы играете? – спросил Либенау.

– Иногда. Не очень хорошо, но когда нужно скоротать зимний вечерок…

– Запрещено, – отрезал полковник. – За эту богомерзкую забаву бьют кнутом… А табак нюхаете?

– Нет, у меня от него слезы – не остановишь.

– А вы как-нибудь понюхайте прилюдно – просто из интереса, предложил коварный хозяин. – Вам за это по закону нос отрежут, так-то! С собаками играть нельзя, на качелях качаться нельзя, смотреть на луну с начала ее первой четверти нельзя. Скоро начнется жара, духота, так вы, дружище, не вздумайте купаться в Яузе во время грозы. Это колдовство донесут, на дыбе изломают.

– Хорошо, что вы меня предупредили, – поблагодарил взмокший от всех этих извещений Корнелиус. – А какие-нибудь невинные забавы дозволяются? Потанцевать с дамами, послушать музыку?

– У нас на Кукуе можете чувствовать себя, как в Германии, тут у нас свои законы. Но на Москве музыки не бывает – православная церковь почитает скрипки, виолы, флейты и прочие инструменты сатанинским ухищрением.

От упоминания о церкви мысли фон Дорна приняли иное направление.

– Какой вы веры, господин Либенау? – осторожно спросил он. – Римской или реформатской?

– Я родом из Нассау, – благодушно ответил полковник, – стало быть, протестант. Вы-то, поди, католик, раз родом из Вюртемберга? Это ничего, я придерживаюсь того взгляда, что вера – дело личное.

– Да, – с облегчением сказал Корнелиус. – Я католик и почти месяц не был на исповеди. Где мне найти священника?

– Нигде. – Старый вояка сочувственно развел руками. – Латинская вера в Московии строго-настрого запрещена. Нас, протестантов, еще терпят, но ни католического священника, ни костела вы здесь не найдете.

– Как же жить без исповеди и причастия? – ужаснулся фон Дорн.

– Ничего, живут, – пожал плечами Либенау. – Молятся перед образом. А кто похитрее – переходит в русскую веру. За это положено повышение по службе, щедрый подарок от царя. Перекресту жить в Слободе необязательно, можно и в Москве. И жениться на русской тоже можно. Многие так делают, особенно из торгового сословия, – презрительно скривился полковник. – Ради выгоды. Пройдет поколение, другое, и добрая европейская фамилия вырождается, такой уж тут воздух. Тех, кто здесь родился, «старыми немцами» зовут, а мы с вами – «новые немцы». Вот я видел из окна рядом с вами толмача Пашку Немцерова. Его дед был лучший часовщик в Старой Немецкой слободе, да польстился на царские заказы, перекрестился. Прошло полвека, и вот вам плод ренегатства – этакий ублюдок Пашка, и не немец, и не русский. Видали у него на лбу шишку? Это от молитвенного усердия, всё земные поклоны кладет. Живет при церкви, на клиросе выпевает. Хорошо, в ворота не сунулся, собака, а то я б его пинками прогнал.

Командир сердито запыхтел, стукнул по столу – фаянсовый кофейник подскочил и выплеснул из носика на скатерть черную жидкость.

– Русская косность и тупость разжижает мозги и разъедает душу! Если б не наш Кукуй, мы все бы тоже давно оскотинились. Знаете, каковы представления московитов о науке? Космографию они изучают по Козьме Индоплавателю, который, как известно, почитал Землю четырехугольной. Высшая премудрость,

которой здесь владеют немногие избранные – четыре правила арифметики, да и то делить большие числа они не умеют, а уж о дробях и не слыхивали. Эвклидовой геометрии не ведают вовсе, а грамотным считается тот, кто может худо-бедно свое имя накалякать. В прошлый сочельник угощал я одного дьяка из Рейтарского приказа, Митьку Иванова. Этот Митька взял со стола мидию в ракушке домашним показать и после хранил этакое диво в винном кубке. Так сослуживцы донесли, будто он в том кубке диавола прячет! И всё, был Митька Иванов – не стало. Зря я на угощение и подношение тратился.

Развезло герра Либенау фон Лилиенклау на нового слушателя – не остановишь. Да Корнелиус и не думал останавливать. Слушал, затаив дыхание, и только на душе становилось всё муторней и муторней. Нечего сказать умен лейтенант фон Дорн, нашел страну, где счастье искать.

– Днем, когда самая работа, все московиты укладываются спать, негодовал полковник. – Присутствия и лавки закрываются, вся страна дрыхнет. Вроде испанской сиесты, никаких дел вести нельзя. Только у испанцев летом жарко, а этим-то что не работается?

– А что русская армия? – спросил Корнелиус, уже заранее зная, что ничего хорошего не услышит. – Трудна ли будет моя служба?

– Трудна, потому что ваш ротный командир, Овсейка Творогов, вор и пьяница. Хотел бы прогнать его, да не могу – у него, мерзавца, высокие покровители. А армия у русских дрянь. В поход с ней ходить нельзя, даже против поляков воевать не может. Знаете, какой стратегии придерживаются московиты в сражении? – Либенау саркастически подчеркнул слово «стратегия». – Скачут гурьбой на врага со страшным криком, надеясь испугать. Если не получилось останавливаются и дают залп из ружей и пистолей. Если противник все равно не испугался, тогда московиты пугаются сами, поворачивают назад и бегут, топча друг друга. Вот и вся баталия. Первый министр боярин Матфеев хочет построить новую армию, европейского образца, но у Матфеева много могущественных врагов, а царь (тут хозяин понизил голос) глуп и безволен, всяк вертит им, как хочет. Вот будете в Китай-городе, полюбуйтесь на их Царь-пушку. Стоит здоровенная дура, никогда в бою не бывала, потому как из нее стрелять нельзя. Царь-пушка у них не стреляет, царь не правит. Вся эта страна – огромный болотный пузырь. Дунь как следует – лопнет. Эх, милый вы мой, я-то сюда не по своей воле угодил. Служил у Радзивилла Литовского, попал к московитам в плен раненый, тому двадцать лет. У меня выбора не было: или в тюрьму, или на

царскую службу. Но вас-то кой черт сюда занес?

– Вы случайно не знаете некоего господина Фаустле, бывшего рейтарского полуполковника? – спросил Корнелиус, припоминая посулы амстердамского знакомца.

– Как же, знаю, – махнул рукой Либенау. – Никакой он не рейтар. Мошенник, прощелыга, из «старых немцев». Это он вас сманил? Такая у него иудина служба, жалованье ему за это из царской казны идет.

Фон Дорн стиснул кулаки, спросил тихонько, будто боялся добычу спугнуть.

– Так, значит, герр Фаустле сюда еще вернется?

Полковник усмехнулся:

– Вернуться-то он вернется, только не такой Фаустле дурак, чтоб на Кукуе появиться. Его тут многие из офицеров и мастеров хотели бы повидать, не вы один. Нет, у Фаустле дом в Замоскворечье, в Стрелецкой слободе. Нам за Москву-реку хода нет, у солдат со стрельцами давняя вражда.

Корнелиус вспомнил, как странно вели себя в Немецкой слободе его канареечные конвоиры. Теперь понятно, почему.

– Ничего, – сказал он, скрипнув зубами. – За глупость и легковерие надо платить. Как-нибудь продержусь четыре года, а потом назад, в Европу.

– Какие четыре года? – удивился Либенау. – Какая Европа? Неужто вы еще не поняли? Приехать сюда можно, уехать – ни за что и никогда. Вы навсегда останетесь в России, вас закопают в тощую русскую землю, и из вашего праха вырастет главное русское растение лопух.

Глава пятая

Не было ни гроша, да вдруг алтын

Если б свободное падение длилось не две с половиной секунды, а чуть дольше, у Николаса от ужаса разорвалось бы сердце. Но в тот самый миг, когда магистр осознал, что, собственно, с ним произошло, и собрался закричать во всё горло, полет уже закончился – хрустом, треском, противным шорохом и глухим ударом. Фандорин оказался в тесном, прямоугольном пространстве, отчего-то пахнущем свежей клейкой листвой и таком же, как листва, зеленом.

Ничего не понимая, он в ужасе задергался, забился в этом жестком и неподатливом зеленом кошмаре, кое-как вывернулся, уперся ногами в твердь и вскочил, по самую грудь утопая в тополиных ветках и бумажном соре. Оказалось, что траектория головокружительного путешествия второго баронета, начавшаяся на крыше, завершилась баскетбольным попаданием точнехонько в мусорный бак, доверху наполненный остриженными ветвями, листьями и скомканной бумагой. Николас задыхался и хватал ртом воздух, исцарапанный и оглушенный падением, но, кажется, более или менее целый.

Ноги передумали держать его в вертикальном положении, и он бессильно осел на пружинистую подстилку из новопреставленной листвы. Над головой сразу же образовался зеленый шалашик из ветвей. Фандорин смотрел сквозь него на синее небо и ни о чем не думал, потому что о чем можно думать, когда с человеком ни с того ни с сего случается такое?

Если б Николас от шока и изумления временно не утратил способности к отвлеченным умопостроениям, он, наверное, сейчас размышлял бы о странном несоответствии между человеческим самомнением и суровой истиной бытия.

Живешь на свете в полной уверенности, что ты – царь и повелитель собственной вселенной, да так оно, в общем и есть. Но твою разумную и упорядоченную вселенную от хаоса отделяет одна лишь тонюсенькая стеклянная перегородка, и ты плаваешь в этом хрупком аквариуме пучеглазой, непуганой рыбкой. А потом случается что-то, над чем ты не властен и о чем даже не имеешь представления – и аквариум разлетается вдребезги, рыбка бьется среди стеклянных осколков, бессмысленно раздувая жабры. Только что ты был хозяином своей судьбы, исследователем тайн истории, сторонником здорового образа жизни и патриотом окружающей среды, ты вынашивал честолюбивые планы на будущее и твердо знал, что следующий новый год будешь встречать на вулканическом острове Тенерифе, а потом хаос чуть-чуть, совсем слегка коснулся тебя своим безумным, обжигающим дыханием, и стекло треснуло. Царь вселенной лежит

скрюченный в мусорном баке, смотрит на ползущие по небу облака и не может взять в толк, почему он еще жив.

Объяснение могло быть только одно – пресловутая фандоринская удачливость, про которую отцу в детстве рассказывала бабушка Елизавета. Мол, ворожит мужчинам рода Фандориных некая благожелательная мистическая сила, приносящая чудесное избавление от всевозможных опасностей. У каждого Фандорина, как у пресловутой кошки, девять жизней, а у некоторых вроде деда Эраста Петровича, запасных жизней бывало и побольше, чем девять.

Чушь, конечно. Фамильная легенда. То-то сэру Александеру с выбором парома «Христиания» повезло. А самому Николасу? Какая фантастическая, оскорбительная неудачливость! Нет ничего обиднее и нелепей, чем стать так называемой жертвой статистики. По статистике положено, чтобы с некоторым процентом населения происходили несчастные случаи – условно говоря, чтоб кому-то на голову падал кирпич. Скажем, 0,01 процента живущих обязаны попасть в автокатастрофу; 0,001 процента обречены заразиться энцефалитом, а 0,0001 процента на роду написано стать жертвой маньяка или психопата. Например, Николасу А. Фандорину,?.?. и Вт.

Как говорят новые русские, ничего тут не попишешь – так природа захотела. Самое тупое и бессмысленное – причитать: ну почему я, почему это случилось именно со мной? Почему сумасшедшего очкарика принесло именно сегодня и именно в ЦАСД? Почему из всех посетителей он выбрал меня?

То есть, разумеется, у всего, что происходит, если покопаться, обнаружится свое объяснение. Например, такое. На Николаса напал историк, имеющий пропуск в архив и потихоньку свихнувшийся среди этого депрессивного антуража. Возможно, у бедняги патологическая ненависть к двухметровым блондинам в синих блейзерах. Именно такой двадцать лет назад надругался над ним в пионерском лагере и нанес ребенку глубинную психическую травму. В обычной жизни он более или менее нормальный, а как увидит синий блейзер – впадает в агрессию. Сила у этого тщедушного очкарика поистине нечеловеческая, явно аффектного происхождения. Как легко он перекинул через себя двухсотфунтового дылду!

Или, что еще вероятней, объект его обсесии – кейсы светло-шоколадного цвета. Ведь именно с кейса все и началось. Такой специфический патологический фетишизм.

Господи, кейс!

Николас вскинулся, застонал, стал вылезать из глубокого узкого бака. Может быть, еще не поздно?

Милиция, здесь у входа дежурит милиция. Скорей!

Три часа спустя желто-синий милицейский «уазик» доставил густо намазанного зеленкой магистра к гостинице.

Дело было дрянь. Психа в клетчатой рубашке на территории архивного городка отыскать не удалось. То ли пролез в подземные хранилища и где-то там, в нехоженых лабиринтах, спрятался – и тогда есть надежда, что рано или поздно вылезет наружу либо же попадется кому-то из сотрудников на глаза. То ли сумел каким-то чудом проскользнуть незамеченным мимо постовых милиционеров на одной из шести проходных, и тогда пиши пропало.

Подавленная жертва статистики ехала в зеркальном лифте на свой пятнадцатый этаж и, чтобы восстановить позитивный взгляд на жизнь, пыталась сочинить оптимистичный лимерик. Но выходило что-то мрачное, и опять, как в архиве, с членовредительской тематикой.

В конце концов, можно ведь взглянуть на случившееся и по-другому, убеждал себя Фандорин. Произошло истинное Божье чудо – впору надевать рубище, вериги и идти простоволосым по святой Руси. По всему он должен был расколотить себе голову о кирпичи, размозжить грудную клетку о бетонный блок или повиснуть, пронзенный одним из торчащих арматурных прутьев, а вместо этого отделался несколькими царапинами. Наследственная удачливость – конечно, бред, но нельзя не признать, что упал он с крыши исключительно, просто феноменально удачно. Стало быть, аквариум уцелел, жизнь продолжается, а если жизнь продолжается, то значит, ее можно наладить и упорядочить.

Первым делом произвести минимизацию понесенного ущерба. Позвонить в «Барклайз», чтобы заблокировали похищенные кредитные карточки. И пусть переведут по «Вестерн юнион» некоторую сумму наличными – не оставаться же без денег. Связаться с консульством, понадобится временное удостоверение

вместо паспорта. Сообщить в «Бритиш Эрвейз» о пропаже билета – пусть восстановят. Всё?

Нет, не всё. Есть пропажа, которую не восстановишь: завещание Корнелиуса. Словно заклятье нависло над этим листком старинной бумаги собственно, уже и не листком, а сколькими-то килобайтами информации в памяти компьютера. Самое обидное было то, что Николас даже не успел прочесть послание капитана фон Дорна. Только:

«Память сия для сынка Микиты егда». О чем память? Когда «егда»? И почему там, чуть ниже поминаются какой-то «алтын» и «рогожа»?

Неужели он теперь никогда этого не узнает? Что за фатальная нелепость! Может, сумасшедший очкарик наиграется своей добычей, да и выбросит ее? Описание кейса и всего содержимого у милиции имеется. Отчаиваться рано.

Он шел по длинному, устланному ковровой дорожкой коридору к своему номеру 1531. Открыл дверь, остановился в тесной прихожей перед зеркалом. Ну и вид: блейзер перепачкан известкой и тополиным соком, рукав надорван, двух пуговиц не хватает. Узел галстука съехал на сторону, рубашка вся в пятнах. А лицо! Мало того, что на щеках две намазанные зеленкой царапины, так подбородок черный и в волосах застрял кусочек яичной скорлупы. Какая гадость! Умыться, немедленно умыться. А потом – под душ.

Николас щелкнул выключателем, распахнул дверь ванной. И замер.

На унитазе, закинув ногу на ногу, сидел давешний очкарик и приветливо улыбался остолбеневшему магистру.

* * *

Первое чувство, которое испытал Фандорин – не изумление, а абсурдная радость от того, что похититель кейса нашелся. Абсурдная – потому что чему же тут радоваться, если от потрясения и сотрясения у человека поехали мозги (отличное идиоматическое выражение из фольклорного блокнота) и его повело в глюки (оттуда же).

– Где кейс? – спросил Николас у глюка. Видение улыбнулось:

– Я думал, ты баскетболист, а ты баскетбольный мяч. Как ты ловко в корзинку-то, а?

Галлюцинация восхищенно покачала чубатой головой, поправила правой рукой очки на переносице, чуть приподняла левую, и Николас увидел черную, матово поблескивающую трубку с еще более черной дыркой посередине.

– Пожил уже, хватит, – с ласковой укоризной сказал очкарик. – Дай другим пожить.

Дырка приподнялась еще на сантиметр, так что теперь смотрела Фандорину прямо в лицо, палец на спусковом крючке двинулся – и Николас инстинктивно, не рассуждая, дернул головой в сторону. Трубка чмокнула, щеку обдало горячим, а в стену сзади ударило чем-то хлестким, и посыпалась крошка.

В свое время Николас был нападающим университетской баскетбольной команды – не из-за того, что умел с середины площадки закинуть мяч прямо в корзинку и не из-за роста (были в команде парни и подлиннее), а из-за превосходной реакции и умения ориентироваться в игре. Во время матча с будущим магистром происходила чудесная перемена – у него начисто отключалась рефлексия. Фандорин переставал думать головой, отдавая управление своими действиями рукам и ногам, которые отлично справлялись с задачей безо всякого участия интеллекта. Очевидно, из-за этого-то периодического катапультирования рефлексии ему и не суждено было стать великим ученым. Может, лучше было податься в профессиональные спортсмены?

Такого рода сомнения (уж они-то точно относились к категории рефлексии) одолевали Николаса довольно часто. Но сейчас катапультирование спасло ему жизнь.

Уже не вникая в тонкости – действительно ли очкарик палил в него из пистолета или это все-таки была галлюцинация – Фандорин метнулся обратно в прихожую и нырнул за выступ. Вовремя: зеркало треснуло, разбегаясь черными лучами от маленькой круглой дыры. Еще один рывок, и Николас вылетел в коридор.

Справа был лифт, но далеко, метрах в тридцати, не добежать – пуля догонит. Фандорин дернулся влево, где находилась лестница. Тоже далеко! Однако в двух шагах от двери номера 1531 стояли двое носатых брюнетов, с интересом глядя на человека, который выскочил из номера, словно чертик из табакерки.

– Sorry, – пробормотал магистр и проскользнул между ними, задев твердое, будто деревянное плечо одного из восточных людей, плотно сбитого, с залихватски подкрученными усами.

Тот зычно крикнул вслед с характерным кавказским акцентом:

– Э! Нэ понял!

Николас и не подумал оборачиваться – несся по узкому коридору со всех ног.

– Ви что тут, с ума пасхадыли?! – еще сердитей крикнул тот же голос, а другой, звонкий и веселый – голос Очкарика – ответил:

– Мильпардон, генацвале. Мы с корешом за пивом. Эй, Коляныч, не гони, успеем!

– Сначала извинысь, потом бэги! – потребовал второй кавказский голос, пожиже первого.

Дальше Фандорин не слышал, потому что уже нырнул в спасительный проем и сломя голову, через три ступеньки, заскакал по лестнице.

Боже, благослови грузинов и их вспыльчивый нрав!

Сам не заметил, как слетел по лестнице с пятнадцатого этажа. Способность к рефлексии все еще не вернулась, а то у Николаса, верно, подкосились бы ноги.

Это был никакой не сумасшедший! Это был убийца! И судя по повадкам, по страшной чмокающей трубке – убийца профессиональный, каких Николас раньше видел только в кино! Очкарику нужен был вовсе не кейс! Он хотел убить Николаса – и чуть было не убил. Дважды Фандорин спасся истинным чудом: сначала благодаря контейнеру с мусором, потом благодаря двум задиристым грузинам. Две кошачьи жизни долой.

В вестибюле дежурил милиционер, строго покосившийся на встрепанного постояльца.

Николас заколебался – позвать на помощь или лучше уносить ноги подобру-поздорову?

Слава богу, рефлексия уже вернулась и вступила в свои права. Какая там помощь? – сказала она. Этот улыбчивый душегуб запросто проник в архивный городок, который охраняют часовые с автоматами, и так же просто вышел оттуда. С той же легкостью он проник в гостиницу, через придирчивого швейцара, через этого самого милиционера. А ведь одет подозрительно: ковбойка, кеды. Нет-нет, бежать, спасаться!

Но куда?

Выскочив на улицу, Николас ошарашенно обозрел поток машин, медленно ползущих по Тверской. Даже такси не возьмешь – платить нечем. Ни денег, ни документов.

В британское посольство – вот куда. Там царят разумность и порядок, там помогут.

– Извините, вы не знаете, где посольство Соединенного королевства? – спросил Николас у топтавшейся неподалеку девушки – миниатюрной, черноволосой, со строго насупленным лбом. Та озадаченно посмотрела снизу вверх, пожала плечами. То ли не знала, то ли он как-то не так спросил.

Задерживаться было нельзя. Фандорин добежал до подземного перехода и стал протискиваться через густую толпу, лихорадочно соображая, как же отыскать посольство.

Видимо, ясность мысли все-таки еще не вполне вернулась к родившемуся в рубашке магистру – ведь в кармане пиджака лежал превосходный «Бедекер». Николас на ходу полистал яркую книжечку. Вот оно, посольство: Софийская набережная. Где это? Квадрат D-7 на схеме центральной части города. Напротив Кремля, на другой стороне реки Москвы. Так это же рукой подать каких-нибудь – четверть часа ходьбы!

Обрадованный такой удачей, Фандорин зашагал по переходу в сторону реки – быстро, но уже не бегом, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.

Жаль, что приходилось вот так, мимоходом пересекать Красную площадь. Увы, не до исторических реминисценций. А сколько раз Николас представлял себе, как с трепетом ступит на священный плац, с которого начинается отсчет бескрайних просторов России! И еще намеревался непременно наведаться в мавзолей, пока мумию погубителя великой державы не закопали в землю.

Хоть и торопился, хоть и не до того было, но на мавзолей все-таки обернулся – и раз, и два. Никогда не думал, что этот зиккурат так похож на сложенные кубики из детского конструктора.

Что это мелькнуло сзади в толпе? Клетчатое, желто-зеленое?

А-а-а, – захлебнулся магистр невыплеснувшимся криком. Следом, шагах в двадцати, споро вышагивал Очкарик. Увидел, что Фандорин обернулся, и радостно помахал рукой, просиял улыбкой: мол, все в порядке, я тут.

Николас резко остановился, присел на корточки и повернул рычажки – на правой платформе, на левой. Стал еще на несколько сантиметров выше из-за высунувшихся роликов и, набирая скорость, помчался по брусчатке вперед, к Покровскому храму. Сзади раздался свисток, потом другой, но это было пустое.

Москворецкий мост он пролетел на одном дыхании – вполне возможно, поставив при этом рекорд скорости по бегу на роликовых коньках. Так разогнался, что, выворачивая вправо на набережную, зацепился ботинком за шов на асфальте и растянулся во весь рост.

Здорово расшиб колено, порвал и без того обезображенные брюки, а досаднее всего то, что от правой подошвы отлетели два колесика, и катить дальше стало невозможно.

Николас испуганно оглянулся. Желто-зеленой ковбойки на мосту не было. Кажется, оторвался.

Припадая на ушибленную ногу, двинулся к спасительному убежищу, посольству Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

* * *

Советник по безопасности Лоуренс Пампкин, грузный мужчина с брыластым, как у мастифа, лицом и ярко-голубыми глазами, окинул медленным взглядом потрепанного посетителя, пожевал губами и бесстрастно спросил:

– Что с вашей одеждой, мистер Фандорин, то есть, сэр Николас? И почему у вас зеленые полосы на щеках?

– Понимаете, я… сначала свалился в мусорный бак, а потом упал с роликов, – ответил Николас и покраснел – так по-идиотски это прозвучало. Просто какой-то Макс Линдер.

Но советник не выразил ни малейшего удивления. Наоборот, вышел из-за письменного стола, крепко пожал Николасу руку и предложил сесть в допотопное кресло, должно быть, помнившее еще лорда Бивербрука. Сам сел напротив, закурил русскую папиросу и, раздув вялый огонек, велел:

– Рассказывайте.

Слушал внимательно, ни разу не перебил и даже почти не шевелился, только время от времени стряхивал пепел.

Когда Фандорин закончил свою готическую повесть, которая здесь, в чопорном казенном кабинете, верно, звучала совершеннейшим бредом наркомана, воцарилась тишина. В открытой форточке, подрагивая на сквозняке, печально позванивал японский колокольчик.

– Вы думаете, что я спятил? – не выдержал тяжелой паузы магистр. Что у меня мания преследования? Честно говоря, я и сам не вполне уверен, что мне всё это…

Пампкин жестом остановил его.

– Нет, сэр Николас, я вижу, что вы рассказали правду. Во всяком случае, то, что вам представляется правдой. Более того, я даже готов поверить, что вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему вас хотят ликвидировать. Я много лет провел в этой стране, и я знаю: здесь может произойти всё, что угодно. Абсолютно всё… И человеческая жизнь тут стоит не слишком дорого. Тем не менее ваша история, безусловно, имеет какое-то вполне рациональное объяснение.

– Какое?! – вскричал Николас. – Я первый день в Москве! Я представитель тихой, мало кому интересной профессии! Какой тут может быть рациональный мотив?

Советник по безопасности вздохнул, чуть качнул головой.

– Могу предположить минимум три. Первый: вас приняли за кого-то другого. Хоть это и маловероятно, если учесть, что киллер поджидал вас в гостиничном номере. Второе: вы видели что-то лишнее и сами этого не поняли. Третье: кто-то, принимающий решения, заблуждается, считая, что вы видели нечто лишнее. Да мало ли что может быть… Хотите добрый совет?

Совет от чиновника Форин оффиса? Николас захлопал светлыми ресницами. Должно быть, мистер Пампкин в самом деле прожил в России слишком долго и от этого отчасти обрусел – даже вон курит папиросы «Беломорканал».

– Совет? – недоверчиво переспросил он.

– Ну да. – Лоуренс Пампкин с некоторым смущением пояснил. – Я же советник.

– Да, буду очень признателен!

– Оставайтесь до завтра в посольстве. Можете переночевать на том диване – я сам иногда тут сплю, когда засиживаюсь допоздна. Никуда не выходите. Канцелярия уже закрыта, но утром вам выдадут временный паспорт. Мои люди вывезут вас в багажнике автомобиля и доставят прямиком к лондонскому рейсу. Уносите ноги, сэр Николас, пока целы. Иначе, боюсь, придется отправлять вас на родину в свинцовом гробу.

Такого совета Фандорин никак не ожидал.

– Но если я сейчас уеду, я не узнаю, что всё это означало, и потом буду терзаться догадками всю оставшуюся жизнь. И потом, я не могу вернуться домой без завещания фон Дорна! Мне не простят этого потомки.

– Так у вас есть дети? – нахмурился советник, будто этот факт еще больше усложнял дело.

– Нет. Но когда-нибудь будут. А почему вы спросили? – насторожился Николас. Пампкин ответил не сразу.

– Я не знаю, сэр, кто и зачем хочет вас убить. Но, видимо, очень хочет. Возможно, это мафия. Или спецслужбы, которых тут теперь развелось бессчетное количество, и у каждой свои секреты, свои интересы. Раньше было гораздо проще: КГБ да ГРУ, и всё, а теперь Россия переживает период феодальной раздробленности, у каждого князька свой штат профессионалов по проведению спецопераций. Да некоторые подразделения еще берутся за выполнение частных заказов. Очень трудно стало работать, – пожаловался мистер Пампкин. – Я это говорю к тому, что защитить вас мне не удастся. У меня хорошие связи, много добрых знакомств в туземных силовых структурах, но в вашем случае я просто не знаю, на кого нужно выходить и к кому обращаться. А пока я буду наводить справки… – Он красноречиво чиркнул желтым от никотина пальцем себе по горлу. Николаса от этого жеста замутило. – Да и по возвращении в Лондон на вашем месте я вел бы себя поосторожней. Кто знает, насколько серьезны намерения ваших недоброжелателей. Могут добраться до вас и в Британии. Прецеденты имеются… Может, поедете в какую-нибудь археологическую экспедицию на полгодика-годик? В Южную Америку или там в Гималаи.

Это было просто неслыханно! Государственный служащий, представитель учреждения, созданного для того, чтобы обеспечивать безопасность британских граждан, советовал ни в чем не повинному человеку забиться в щель, поставить крест на собственной жизни, на профессиональной карьере.

– Я не археолог, я историк, – отрезал Фандорин. – В Гималаях мне делать нечего. А отсюда я не уеду до тех пор, пока не верну свою собственность!

Страха больше не было. Вместо него нахлынула злость: на нечестный трюк, который выкинула судьба; на этого непрошеного советчика, которому только бы

поскорей избавиться от докучной проблемы; на вязкую, нелепую, гнусную страну, в которой перестают действовать законы разума и логики. Черт занес сюда Корнелиуса фон Дорна! Что ему не сиделось в своей Швабии?

Но стоило Николасу мысленно произнести эти крамольные слова, и он тут же вжал голову в плечи. Померещилось, будто все восемь поколений русских Фандориных во главе с самим Корнелиусом сурово смотрят на своего никчемного потомка и презрительно качают головами – усатыми, бородатыми или же украшенными бакенбардами:

«Стыдись, Николас Фандорин. Не смей рассуждать так о своей отчизне. Нет ничего позорнее измены и малодушия».

Советник зашевелил мясистыми губами и открыл было рот, но магистр перебил его самым невежливым образом:

– Я знаю заранее всё, что вы мне скажете. Что здесь не Британия и не Европа. Что милиция не станет меня защищать от этого очкастого ковбоя и не будет искать мой кейс, потому что это никому не нужно. Что здесь джунгли. Что русские – нецивилизованная нация, не имеющая представления о правах личности, о человеческом достоинстве, о законности. Что всё здесь разъедено коррупцией. Отлично! Я не спорю! Так всё и есть! – Он возбудился до того, что ударил кулаком по толотому кожаному подлокотнику. – Но именно этим я и воспользуюсь. Милиция не будет искать пропажу, потому что у нее нет стимула? Я дам ей стимул! Я объявлю награду за возвращение письма и ноутбука. Десять, нет двадцать тысяч фунтов. Пятьдесят! Понадобится – сто! Я заложу квартиру, я возьму в банке ссуду, но я верну нашу семейную реликвию! Как вы думаете, мистер Пампкин, прибавится прыти у суперинтенданта уголовной полиции, или как он тут у них называется, если я посулю премию в 100 тысяч фунтов?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

откуда не вернешься (англ.)

2

грабить (англ.)

3

Сначала честь, остальное потом (лат.)

4

Гляди, гляди-ка! (нем.)

5

«Аист и колесо» (нем.)

Купить: https://tellnovel.com/ru/boris-akunin/altyn-tolobas

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить